

# Даугава

**В НОМЕРЕ:**

**Е. ГИНЗБУРГ**

**Крутой**

**маршрут**

(хроника времен  
культы личности)

**День**

**реабилитации**

**Рубикон**

**в Резекне**

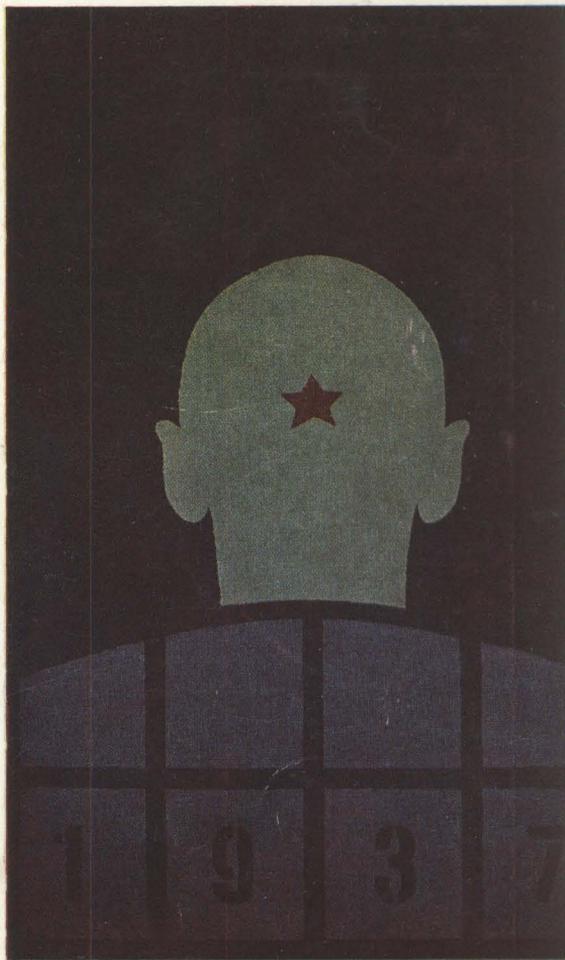
**Уроки истории**

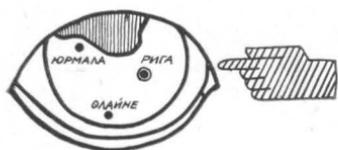
**Эрнста Генри**

**Х. Л. БОРХЕС**

**Каббала**

**1988**  
**7**

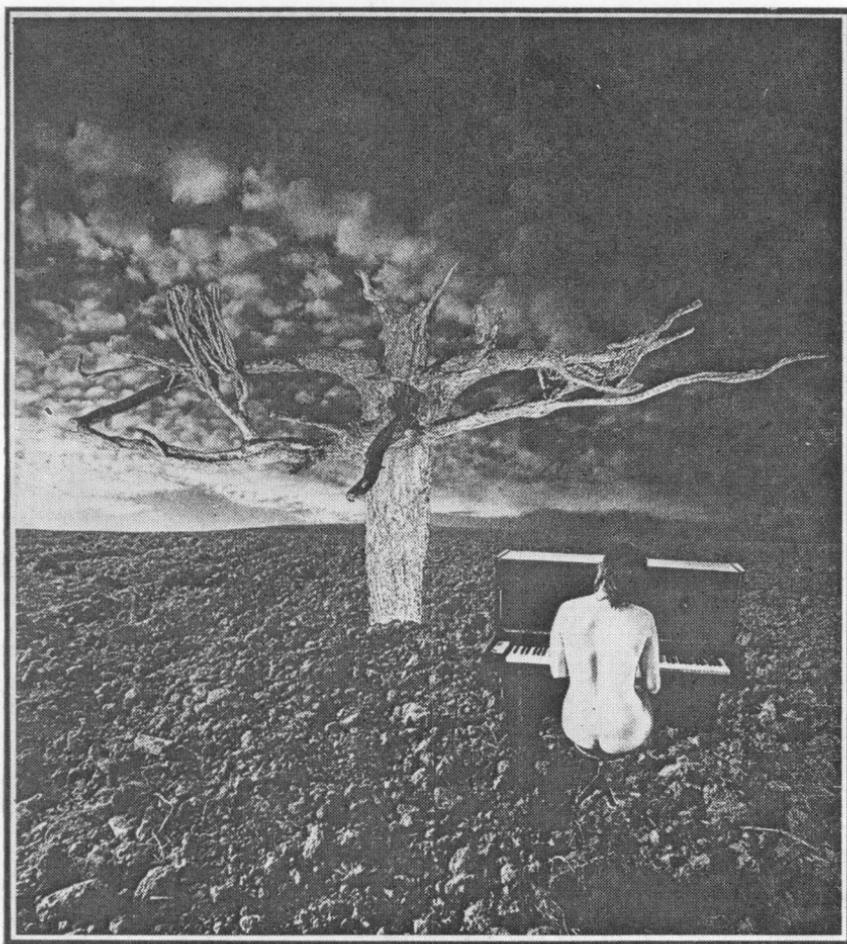




Треугольник, вершины которого образуются географическими координатами Риги, Юрмалы и Олайне, стал в последние годы одним из средоточий сложных экологических проблем. Последствия хозяйственной деятельности в этой зоне ощущает на себе почти половина населения республики, живущая здесь, огромные лесные массивы, реки Лиелупе и Даугава, Рижский

залив. Естественно, что журнал, выделяя эту территорию, намерен постоянно держать в поле зрения основные проблемы экологии треугольника, вызывающие сегодня столько споров и страстей.

Дав в прошлом номере статью биолога Б. Голубева «Сточная канава Юрмалы», мы продолжаем сегодня разговор публикацией его цветных снимков, сделанных в окрестностях Слокского ЦБЗ, в так называемой эстетике «Де». Опыт изыска в безобразии практиковался фотомастерами и художниками не раз и с одной целью: привлечь резкое внимание к проблеме. Не правда ли, болью дышат обезображенные пейзажи, эта рукотворная природа. Тем не менее наберемся мужества и всмотримся в наших рук дело.



Янис Кнанис. Соло.

# Даугава

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИЙСКОЙ ССР.  
ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1977 ГОДА

**7** (133)

ИЮЛЬ  
1988

## В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

<b>ГИНЗБУРГ Е.</b> Крутой маршрут. Хроника времен культы личности. Предисловия А. Рыбакова, В. Быкова . . . . .	3
<b>АКСЕНОВА А.</b> О матери . . . . .	4
<b>ПЛАУДИС Э.</b> За пропетевшею звездой. Стихи. Вступление Л. Бриедиса . . . . .	59
<b>ЗВИРГЗДИНЬШ Ю.</b> Единорог. Рассказ . . . . .	64

Встречи

<b>КАЛАНДИЯ Р.</b> Рифмованный Икар. Стихи. Вступление Я. Рокпелниса . . . . .	73
---	----

Кафедра

<b>ШКЛОВСКИЙ Е.</b> Чувство стаи . . . . .	78
--	----

Публицистика

Официальный запрос <b>ПОЛОЦК И.</b> День реабилитации . . . . .	83
--	----

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК КП ЛАТВИИ.  
РИГА

(см. на обороте)

## **В Н О М Е Р Е (окончание):**

Журналистское расследование

<b>ЯУНЗЕМЕ З. Рубикон . . . . .</b>	<b>88</b>
<b>ДЕМИДОВ С. Под единодушное «осуждам»</b>	<b>98</b>
<b>СОКОЛОВ А. «Правдивая дезинформация» . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>От редакции . . . . .</b>	<b>100</b>

Диалог

<b>1. ЕГОРЕНОК С. Вместо манифеста . . . . .</b>	<b>101</b>
<b>2. ЧЕВЕРС З. Бумеранг догматизма . . . . .</b>	<b>104</b>
<b>КОБЫШ В. Урок истории Эрнста Генри . . . . .</b>	<b>107</b>
<b>ГЕНРИ Э. Предисловие к 3-му советскому изданию . . . . .</b>	<b>108</b>

Обзоры, размышления, рецензии

Два мнения об одной книге

<b>ИВЛЕВ А. Испытание словом . . . . .</b>	<b>112</b>
<b>РОКПЕЛНИС Я. «Годы помогают молодеть...»</b>	<b>115</b>

Культурология

<b>БОРХЕС Х. Л. Каббала (лекция). Предисловие И. Петровского . . . . .</b>	<b>118</b>
<b>Почта «Даугавы» . . . . .</b>	<b>127</b>

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

---

Главный редактор

Владлен ДОЗОРЦЕВ

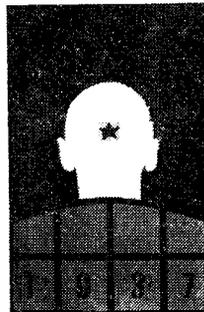
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ (отв. секретарь), Людмила АЗАРОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО, Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДЫНЬ, Янис СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК (зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрис ЯКУБАН (зам. главного редактора).

РЕДАКЦИЯ

Сергей КОЛЬЦОВ, Илан ПОЛОЦК, Вадим РУДНЕВ

Евгения ГИНЗБУРГ



# КРУТОЙ МАРШРУТ

**Хроника времен культа личности**

**Анатолий РЫБАКОВ,**  
лауреат Государственной премии

*Это страшная книга и это прекрасная книга. Она разверзла перед нами бездну человеческих страданий и показала величайший образец нескгибаемости человеческого духа.*

*Маленькую женщину Евгению Семеновну Гинзбург, мать троих детей, мучили в тюрьмах и лагерях восемнадцать лет. Она выжила, выстояла и рассказала нам то, что от нас так долго скрывали.*

*Эту книгу написал свидетель честный и беспощадный. С каждой страницей он погружает нас в царство беззакония и произвола, в мир унижений, пыток, холода, голода, смерти, в ад великого ужаса, погубивший миллионы людей и внушивший неистребимый страх оставшимся в живых.*

*И все же мужество и человеческое достоинство оказались сильнее. Они помогли Евгении Гинзбург донести до нас Правду, которую мы должны знать и будем знать, которую мы не должны забывать и не забудем никогда.*

*Очень хорошо, замечательно, что журнал «Даугава», публикуя роман «Крутой маршрут», наконец-то делает то, что давно уже следовало сделать.*

**Василь БЫКОВ,**  
лауреат Ленинской премии

*Это не роман и не какое-либо другое из распространенных произведений прозы — это исполненное боли эхо нашего недавнего прошлого, которое тем не менее не может не отзываться в человеческой душе ползубытым страхом и содроганием. Вещи, о которых здесь идет речь, с трудом постигаются обыч-*

ным человеческим сознанием, хотя при чтении этих строк нигде не возникает и тени сомнения в их искренности и достоверности — правда вопиет из каждого слова во всей своей наготе и неотвратимости. Впрочем, это и понятно. Автор не только пережил описанное однажды, но и сумел силой несомненного таланта переплавить пережитое в незаурядное произведение литературы, что также немислимо без повторного переживания. Отдадим ему должное уже за это. Каждое слово здесь адресовано прежде всего человеческой совести, так как любой другой адресат вряд ли в состоянии был бы проникнуться всей трагической глубиной как мужества, так и падения, на которые способен человек. Совесть как пароль сострадания, как зерно прозрения. Имеющий слух — да услышит, не утративший совесть — усовестится. Этой благородной цели всегда верно служила великая сила правды, которая единственно господствует на трагических страницах записок, отдавая должное ушедшему и преподавая горькие уроки живущему. Не отвернемся же и мы от этой правды — постигнем ее, другого выбора на нашем пути не существует. Если только мы действительно жаждем отряхнуть прах с наших ног и вступить мудрыми и просветленными в новое светлое и справедливое завтра.

## О МАТЕРИ

*Но кто мы и откуда,  
Когда от всех тех лет  
Остались пересуды,  
А нас на свете нет?*

Б. ПАСТЕРНАК  
«Свиданье»



Евгения Гинзбург

«У меня отняли восемнадцать лет, а Взморье мне их вернуло... море... сосны... воздух... культура...» — говорила моя мать Евгения Семеновна Гинзбург. Любила она эти места благолепия, где, пешком измеряя километры песчаного берега от Лиелупе до Яундубулты, осуществляла уже созревшую, начиная с Колымы, первую часть хроники времен культа личности «Крутой маршрут». А если кто-то был рядом, читала вслух любимые стихи (равных ей по знанию наизусть я не знала). Такая сдержанная, деловая в Москве, она в Юрмале удивительно молодела, остро чувствовала все самые маленькие радости жизни... «... Море... сосны... воздух... культура...»

Приехали мы в Ригу в 1958 году, после жутких квартирных мытарств, летом, уже с очень большим отцом Антоном Яковлевичем Вальтером (я приемная их дочь, но для меня они — Отец и Мать). Это было в Лиелупе, дом у реки, отец на раскладушке в сосновом лесу и мать, которая ему читает первые главы своей трилогии. Удивительно умела

она каждый свой миг использовать для любимого дела — писать, и это было ее счастьем и спасением от всех бед. После смерти А. Вальтера в 1959 году жила в Булдури у Вильгельмины Ивановны Руберт (муж ее, секретарь Свердловского обкома, был арестован и расстрелян), с которой мать прошла Эльген. Удивительная, умнейшая женщина — ее нет уже в живых. Когда мама оставалась у Вилли (так Е. Гинзбург называла В. Руберт) в двухэтажном деревянном доме — все наполнялось юмором и жизнью от этих эльгеновских подруг, прошедших вместе адовый маршрут. До позднего вечера мать читала главы из своих черновиков, и я и дети Вилли слушали, замерев, — так страшно, но с такой артистичностью и заразительностью она это делала. А какая необыкновенная рассказчица! С юмором и озорством зачитывала из своей записной книжечки наблюдения-зарисовки...

В 1962 году Е. Гинзбург отдала первую часть и часть второй своей книги в «Новый мир» и в «Юность». К 1966 году все надежды на публикацию, все замечательные отзывы Каверина, Аникста, Горелова, Эренбурга, Паустовского, Чуковского, Пастернака, Пановой, Евтушенко, Вознесенского и многих других — все это рухнуло...

Для матери было потрясением издание ее книги в Милане (изд-во «Мандадорн», 1967). Как? Каким образом? Рукопись «... без моей правки, без всякого моего участия в издании... — Е. Г.» — пустилась в новый маршрут... Как потом выяснилось, на магнитофонную пленку был наговорен текст и вывезен за границу. Очень горько, тяжело перенесла она это — почему не на Родине, а Там? «Книга стала чем-то вроде взрослой дочери, безоглядно путившейся «по заграницам», начисто забыв о брошенной на Родине старухе-матери. — Е. Г.»

Уже писалась третья часть книги, мама приезжала в Москву из своей Юрмалы и в очень узком кругу, в основном из оставшихся в живых политкаторжан, проверяла написанные главы. Из своей квартиры рукопись «Крутой маршрут» не выпускалась, сработал Великий Страх, который сопутствовал ее поколению... До кон-



Евгения Гинзбург с сыном

ца жизни мама под подушкой в сумке держала свой паспорт и партийный билет и куда бы она ни выходила — носила с собой. На подтрунивание близких она отшучивалась: «Без бумажки ты — букашка». Чего ей стоил этот паспорт?! Чего ей стоила партийная реабилитация?!

Каждый день в десять утра она садилась за машинку — ежедневный труд, ее радость... Трилогия «Крутой маршрут» была закончена, мама торопилась успеть — и успела... Было много планов, обдумывалась новая книга — но увы... Уже «море... сосны... воздух...» — все это было недоступно ей: страшные физические боли, страдания уничтожали ее...

Семнадцать лет мама приезжала в Ригу, и когда я прохожу по ее местам в Юрмале, я думаю: пусть будет благословенно это «море... сосны... воздух... культура...» и низкий поклон всем тем людям, с которыми прошла так много бед и унижений эта красивая, мужественная женщина — Евгения Семеновна Гинзбург.

**АНТОНИНА АКСЕНОВА**

*И я обращаюсь  
к правительству нашему  
с просьбой:  
удвоить,  
утроить  
у этой плиты караул.*

ЕВТУШЕНКО

Все это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до двадцатого и двадцать второго съездов партии.

В 1937-м, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных ТАМ.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели это все всерьез?

Пожалуй, именно это изумление и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели ТАКОЕ возможно ПРОСТО ТАК? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни, человеческой натуры, которые открылись передо мной, нередко помогали отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить, в надежде рассказать об этом тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку будет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! В нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Уже сегодня можно рассказать людям о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — воспоминания рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

## ЧАСТЬ I

### Глава первая

## ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с первого декабря 1934-го.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж — Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татар-

---

Публикация дается без сокращений и исправлений по рукописи автора. (Ред.)

ского обкома партии, был в командировке. Из детской доносились ровное дыхание спящих детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дому еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни тени сомнения в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство остороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Все знакомые люди, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепу.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепу, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепы, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор Института марксизма. Это был простой, хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня все оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то — коммунист...

## РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Каталынов? — Это было фантастично, невероятно, но об этом было напечатано в «Правде» — значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института, был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросавшийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы, и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Не мог он остаться незамеченным и по своим душевным проявлениям. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, — все это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Не раскинув длинные ноги в элегантных ботинках, а поджав их под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забжежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень...

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела, по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумыч?

— Все. Все кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это все неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он все преувеличивает... Ну, может быть, по остроте положения выговор задним числом обьявят за ту ошибочную статью... и т. д...

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной... Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется с осени 1932 года. Я работала тогда в пединституте. Он появился как зав. кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось работать вместе с Эльвовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красным и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на укрепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной прессе стала называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив свойственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльвовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мапочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле:

— Профессора-то нашего... рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

### Глава третья

## ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие затем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красной Татарии» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я **НЕ** делала.

Оказывается, я **НЕ** разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова. Я **НЕ** выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась.) Я ни разу **НЕ** выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного недоверия.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих 20 с лишком лет,

до самого XX съезда партии, или по крайней мере до сентябрьского Пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

— Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

— Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

— Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

— Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщинок глазами и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

— Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в воздержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя кулаками в грудь, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм».

И еще много-много таких формул звучало под сводами

общественных помещений. Печать тоже наводнилась раскаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями многих «теоретиков». С каждым днем возрастала роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за приуменьшение политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Красного. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смилги и принимала участие в известных «проводах Смилги» в Москве при отъезде Смилги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных людей, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

— За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили, оставив (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разобравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») — поставить на вид «недостаточную бдительность».

#### Глава четвертая

## СНЕЖНЫЙ КОМ

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепы, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем — Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных, он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможивался буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал

перочинным ножичком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933-м, когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы.

Мы, близкие личные приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

— Михаил Осипович, вам ночью воробьи глаза выклевали. Посмотрите, на Черном озере!

Летом в «Ливадии» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

— Это что еще за рыжий Мотеле? — шепотом спросила я мужа.

— Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими садистско-фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудической изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задушить меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по партийному на «ты».

— Ты разве не читала статью товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

— Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

— Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убедить Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал все сначала.

— Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов...

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь, в сущности,

я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

— Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию...

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не вполне понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время его двойник по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, которую доставляло ему издевательство над человеком. Глаза Малюты излучали открыто сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал. Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеки от тех, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели! Праволевацкие уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытали меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю эти свои переживания периода «прелюдии» с тем, что довелось вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее, до самого июльского Пленума ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В смысле внешних условий жизнь моя еще не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в привычной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолятора или пилила вековые деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Преследовала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая история коммунистки Питковской, разыг-

равшаяся в начале осени 1935 г. Питковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики... Кожаные куртки... Энергично функционировать...» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не звал по имени. Питковская! Ее можно было нагрузить парработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легко подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство! Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской — Донцов — примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его за прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежащих к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская.

Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену, достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула:

— Так он лгал мне? Так он все-таки шел против партии?

Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:

— Бельишко ему соберите...

Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кровати спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кровать:

— У моего сына нет отца.

Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии.

Все это она рассказала мне сама. Я абсолютно исключаю хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодях, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках — не умещалась в этом чистом, угловатом сердце.

На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения: «За связь с врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок проработала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: это идет к нам Питковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал мне, что я сама на подозрении и «связь с Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту натыкалось на подленький страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила стакан уксусной эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала все как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста или звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за примиренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую работу.

Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.

#### Глава пятая

### «УМА — ПАЛАТА, А ГЛУПОСТИ — САРАТОВСКАЯ СТЕПЬ...»

Моя свекровь Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве, простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью по-писательски метко, почти афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южно-русском наречии, щедро оснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему царю Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое

«И это пройдет», наша бабушка, выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила: «Такое-то уж было»...

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова.

— Такое-то уж было...

— Как это было?

— Да так. Царя-то ведь уж убивали... (Она имела в виду ни больше ни меньше как убийство Александра II.) В ту пору я еще молоденька была... А только сейчас чегой-то не туды стреляли-то... Ведь у нас нынче царем-то не Киров, а Сталин... Пошто в Кирова-то? Ну, да это дальше видать будет...

До мельчайших подробностей помню день первого сентября 1935 года, когда я, снятая партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь или училась или учила других. День первого сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отверженная, а с улицы доносятся привычные звуки возрождающейся после лета жизни вузов, школ. Шумит Казань — город студентов. Но я не войду больше под колонны родного университета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздается резкий звонок и торопливый бабушкин голос:

— К тебе, Евгенья, голубчик. Выдь-ка...

В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов — астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая:

— Да ты ж моя болезная... Да ты ж моя головушка бедная...

Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шепотом говорит:

— Отчаянны головушки, студенты-то... Що им за те цветы еще будеть... Евгенья-голубчик, а я тебе що скажу... А ты мене послухай, хочь я и старая и неученая... Капкан, Евгенья, капкан круг тебе вьется... Беги, покудова цела, покудова на шею не закинули. Ляжить пословица — с глаз долой, из сердца вон! Раз такое дело, надо тебе отсюда подальше податься. Давайкось мы тебя к нам, в сяло, в Покровское, отправим...

Я продолжаю вслух рыдать, еще не вполне понимая смысл ее предложения.

— Право слово... Тамотка таких шибко грамотных, как ты,

дуже надо. Изба-то наша стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони... Пятнадцать корней.

Я прислушиваюсь.

— Что ты, Авдотья Васильевна? Как же это я все брошу: детей, работу?

— А с работы-то вишь и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.

— Да ведь я должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?

— Евгенья-голубчик... Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту-то свою доказывать станешь? До бога высоко, до Сталина — далеко...

— Нет, что ты, что ты... Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду...

— Эх, Евгенья-голубчик! Ума в тебе — палата, а глупости — саратовская степь!

Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего «баба рязанская».

Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля, мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напомиавшим вариант Авдотьи Васильевны.

Там, на Ильинке, встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми в «сеть Люцифера». В очереди у кабинета партследователя я встретила знакомого молодого врача Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности, и теперь он доверительно рассказал мне о своей «чертовщине». Он тоже «не проявил бдительности», и, наоборот, «проявил гнилой либерализм». Он тоже куда-то «объективно скатился» и т. д.

— Слушай, Женя, — сказал он мне. — А ведь если вдуматься, дела наши плохи. Хождение на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например, если бы я спел тебе популярный романс: «Уйдем, мой друг, уйдем в шатры к цыганам»?

Его синие белки сверкнули прежним озорством.

— Еще можешь шутить?

— Да несколько! Ты послушай. Я цыган натуральный, ты тоже вполне сойдешь за цыганку Азу. Давай исчезнем на энный период с горизонта. Для всех, даже для своих семей. Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке. Дескать, П. В. Аксенов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга... Ну и так далее. Пожалуй, тогда твоему Бейлину волей-неволей придется сдать дело в архив. А мы с тобой присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные туристы, пока волна спадет. А?

И это, по сути дела мудрое предложение показалось мне авантюристским, заслуживающим только улыбки. А между тем несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспоминала, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические, районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, который фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к «группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов, прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки здорово просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, те, над кем не довлела почти мистическая сила «формулировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь все на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные доказательства своей невинности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожащими за собственную шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли «ума — палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

## Глава шестая

### ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Он был удивительно противоречив для меня, этот последний год моей первой жизни, оборвавшейся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах качусь к пропасти. Все более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон. Шли процессы. Процесс Зиновьева — Каменева. Кемеровское дело. Процесс Радека — Пятакова.

Газетные листы жгли, кололись, щупальцами скорпиона впились в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось все туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должна была тоже иметь своих «врагов»,

чтобы не отстать от центра. Как в любой кампании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это... Почти весь этот год я прожила в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому жила я в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и провожали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть. Таковы были гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз в жизни видела Сталина. Я шла в рядах Союза писателей, так что имела возможность очень близко разглядеть его.

Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назревавшей трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее по мере ознакомления со сталинизмом в действительности. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным ликом, который благогостно взирал на нас с миллионов портретов. Даже больше чем «без обожания». Правильнее будет сказать — с затаенной враждебностью, хотя еще и неосознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня в этом отношении! Рядом со мной шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое исступление, с которым она шептала: — Видела Сталина. Теперь можно и умереть...

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово: «идиотка»!

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с Хозяином» о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе.)

... Самые различные характеры встречались среди «меченых»,

штурмовавших коридоры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди, покорно ждущие решения своей судьбы; и были люди, переходящие в наступление на партследователей. Вот рядом со мной томится на деревянном жестком диванчике директор одного из харьковских заводов.

— Прошу!

Это он протянул мне раскрытый портсигар.

— Спасибо. Не курю.

— Как — не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем же вы тогда это самое... — он колотит себя в грудь мелкими ударами, — чем заглушаете?

— Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня — в Малый.

— Неужели помогает?

— Да ничего вроде...

В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и простодушным мягким ртом.

— Вы еще шутите, товарищи. А мне не до шуток... Жену ревматизм разбил, второй год как обезножила. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы... Так разве до театров тут? Последнее проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый.

Харьковский директор протягивает ему портсигар:

— Кури, браток. А на шуточки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?

Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись вперед, как под бременем невыносимого груза, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:

— Через Плеханова пропадаю!

— Как?

— Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить... А я... Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-то, лежит, понимаешь ты, в лежку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спрашивают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать: «Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине семейного тяжелого положения». А я... Дернула же нелегкая. Послышалось мне вроде кто-то шепчет, подсказывает: «Плеханов!» Ну я взял да и брякнул наотмашь: «Плеханов, мол, основал». Вот с тех пор и пошло. По первости-то было выговор объявили, а потом — дальше в лес, больше дров. Большевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки. А она...

Лицо рассказчика исказилось гримасой сдерживаемого стога.

— Не вынесет. Помрет...

Он помолчал еще немного и добавил:

— И все через Плеханова...

Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос:

— Признаете ли вы себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?

В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУРа, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмутился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось, между прочим: «запретить пропаганду марксизма-ленинизма».

— Черт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма! Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, к ноябрю я получила выписку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой — «за притупление политической бдительности».

— А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие, — сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным прошлым действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого БЕЗ предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли посланную мне вслед телеграмму из КПК:

«Новое слушание вашего персонального дела назначено на такое-то. Немедленно выезжайте Москву. Емельян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:

— Не ездь в Москву-то, Евгенья, пра не ездь! В Покровское, да потихоньку...

И опять я ответила:

— Что ты, бабушка! Разве коммунист может бежать от партии?

И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова, который САМ эту статью поместил в редактированной им, Ярославским, четырехтомной «Истории ВКП». Было от чего взяться за голову!

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.

## Глава седьмая

### СЧЕТ ШЕЛ НА МИГ

С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».

Умом я считала, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки — думала я — хоть что-то, хоть маленькое, ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невпопад. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь не было никогда и тени сомнений в правильности генеральной линии.

— Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовывать! — поддерживал меня в этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставляло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое все сжимается и скоро меня раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!

В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врач-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и очень внимательным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:

— Я очень жалею своих знакомых-коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей как будто никаких не было, но в непрерывном потоке сознания вдруг откристаллизировалось некрасовское четверостишие:

Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,  
Может смертью еще доказать,  
Что в нем сердце не робкое билось,  
Что умел он любить и...

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, отвлек мои чувства. Стало полегче. Потом снова навалилось.

Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучащую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг... Один миг... И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться...

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:

— Ведь это все пройдет... А жизнь только одна...

... Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие лживые силлогизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное — это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты все равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем — все равно. В отношении меня получалась такая «логическая» цепочка: Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел — все равно. Объективно, это опять-таки «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором такой статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», записанному совестливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».

Таким образом, точка над «i» была поставлена. Пособничество врагу — уголовно наказуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что именно я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать в лицо ему простые вопросы, вытекающие из элементарного здравого смысла. А такие во-

просы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались или снисходительно усмехались, третируя спрашивающего как идиота.

Но в том состоянии аффекта, в котором я находилась в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему:

— Ну хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только не выступили, а еще сами отредактировали эту статью и напечатали ее в четырехтомной Истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы — партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно все это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску ханжеской суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:

— Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я, человек, немыслимый вне партии, виноват в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный до дерзости вопрос: «Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?»

Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу — беспощадная ясность: все безразлично, все бесполезно. Настало время или умирать или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?

#### Глава восьмая

### НАСТАЛ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

И вот он наступил — этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР Астафьево, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи

советовали сменить климат. Наступали школьные зимние каникулы и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

— Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор Туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним — директор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинелишке прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа...

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он, как член бюро обкома, сидел в президиуме и должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнату, время от времени останавливался и произносил:

— Кто его знает, Векслина-то... Человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь...

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи вытертое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, знал, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок положения, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня персонально произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда...

— Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? — спрашивала я.

— Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии...

— Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? — горько острою я. Он раздражается.

— Ты прости, Женюша, но в таких шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером, в безлюдном Дядском садике, напротив нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал все в

ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул:

— Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

Я вырвала у него свою руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллеи сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, разрывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было в том, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле — нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще, каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности, что значит ТЕПЕРЬ супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, невысказанный даже самим себе.

...Астафьево — пушкинское место, бывшее имение князя Вяземского — было в свое время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольщики» и «Бьюишники» котировались высоко, «Фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

— Противные ребята, — говорил он, — ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях...

Несмотря на то, что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брюзгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы, и пир шел вовсю.

Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

— Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая...

Без пяти 12, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала радостно, думала — муж.

В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой — Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударял в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.

#### Глава девятая

### ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань — не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось больше со мной встречаться? А вернее всего — было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось все больше. КПК уже не справлялся с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома — мой бывший слушатель по Татарскому коммунистическому университету Бикташев. Надо было видеть, какой гримасой боли искажались его лицо, пока зачитывалось «дело». Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне на этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.

— Вопросы?

— Нет.

— Выступления?

— Нет.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е. С.? — хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели неясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю все, и я уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шепотом:

— Решайте без меня...

Все мы знаем, что это нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решений. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:

— А билет... он с вами?

И точно поперхнувшись, выкашливает:

— Вы оставьте его...

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого... Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было — трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадок! Какими они были веселыми и любознательными — эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас...

Все это проносится передо мной и — уверена! — перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

— Оставьте билет... пока...

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика Бикташева, хорошего, любознательного парня. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим — палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

— Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936-м был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

— Ну что?

— Оставила билет...

Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

#### Глава десятая

### ЭТОТ ДЕНЬ...

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала... И все мои близкие ждали. Чего? Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск — поедем опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова... Он член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошечку. «Поешь, деточка. Помнишь, ты

любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте». И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклинаний» умолила меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях и она стала нелегальщиной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

— Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

— Во время заседания? Что они?.. Я занят, скажите...

Но секретарша вернулась.

— Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс моего мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома! Тоже «оказался»?..

— Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих выпустить...

Он хотел убедить себя, что это проверка, какое-то недоразумение, временное и отчасти даже комичное. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходявших на улицу! И каждую надо было «прослушать», холодея, когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место СТРАХУ, великому СТРАХУ, сжавшему горло всей страны.

— Павел! Машина!

— Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много...

— Остановилась! Право, остановилась...

Муж босиком подскакивает к окну. Он бледен. Преувеличенно спокойным голосом он говорит:

— Ну вот видишь, грузовик!

— А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

— Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только — как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увезли Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах...

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто тянуло теперь на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходим к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произносит тем самым неестественно-спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

— Это, наверное, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет как полотно и еще спокойнее добавляет:

— Это тебя, Женюша... Веверс... НКВД...

Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

— Приветствую вас, товарищ. Скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

— Я теперь всегда свободна. А что?

— О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?.. Все это преходяще. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом Эльвоге. Дополнительные сведения. Ох, и подвел же он вас! Ну, ничего! Сейчас все это выясняется.

— Когда прийти?

— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.

— А вы меня долго задержите?

— Да минут так сорок. Ну, может быть, час...

Муж, стоящий рядом, все слышит и знаками, шепотом настойчиво советует мне идти сейчас.

— Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего!

И я заявляю Веверсу, что приду сейчас.

— Может быть, забежать к маме?

— Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится все это, — тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной... Больше я его уже не увидела.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, привыкший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла...

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

— Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть...

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Все равно — совершается неизбежное и его не умолишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Все. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретила Майка. Она шла с катка. Эта всегда все понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неурочное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское понимание горя и ужаса было на этом двенадцатилетнем лице, что оно снилось мне потом годами.

Внизу у входа встретила еще наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

— Пешком?

— Да, пройдемся напоследок.

— Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

— У меня нет никаких сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

— Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

— Не говори таких глупостей, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовывать всю партию.

— Иногда у меня и мелькает такая безумная мысль. Уж не всю ли и собираются арестовывать?

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он раздражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти все. А на деле меня ждало еще много горестных открытий.

Но вот и знаменитый дом — Черное озеро.

— Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

— Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь.

Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь к бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос.

— Женюша!

Оглядываюсь.

— До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне ТАМ.

#### Глава одиннадцатая

### КАПИТАН ВЕВЕРС

Я открыла двери очень смело. Это была настоящая храбрость отчаяния. Прыгать в пропасть лучше с разбега, не останавливаясь на ее краю и не оглядываясь на прекрасный мир, оставляемый навсегда.

Но будничная казенная неторопливость, с какой мне оформляли пропуск, обозначенное на нем время моего прихода и рядом пустое место, на котором должно было быть отмечено время моего ухода отсюда, — все это на какой-то момент вселило в меня мимолетную надежду: может, и впрямь ему надо только расспросить меня про Эльвова?

Поднимаюсь на второй, потом на третий этаж. По коридорам деловито проходят люди, из-за застекленной двери раздается треск пишущих машинки. Вот какой-то молодой человек, где-то виденный, даже рассеянно кивнул и обронил «здрассьте». Самое обыкновенное учреждение!

И я уже теперь совсем спокойно поднимаюсь на четвертый этаж и на секунду останавливаюсь у двери комнаты № 47. Стучу и, не расслышав ответа, переступаю порог. И сразу сталкиваюсь со взглядом Веверса. Глаза в глаза.

Их бы надо в кино крупным планом показывать, такие глаза. Совсем голые. Без малейших попыток маскировать цинизм, жестокость, сладострастное предвкушение пыток, которым сейчас будет подвергнута жертва. К этому взгляду не требовалось никаких словесных комментариев.

Но я еще сопротивляюсь. Я продолжаю делать вид, что считаю себя по-прежнему человеком, коммунистом, женщиной. Я вежливо здороваюсь с ним и, не дождавшись предложения сесть, с удивлением спрашиваю:

— Можно сесть?

— Садитесь, если устали, — пренебрежительно роняет он. На лице его та самая гримаса — смесь ненависти, презрения, насмешки, которую я потом сотни раз видела у других работников этого аппарата, а также у начальников тюрем и лагерей.

Эта гримаса, как потом выяснилось, входила в программу их профессиональной подготовки и они ее репетировали перед зеркалом. Но тогда, столкнувшись с ней впервые, я была уверена, что она выражает персональное отношение Веверса ко мне.

Несколько минут проходят в полном молчании. Потом он берет чистый лист бумаги и пишет на нем крупно, медленно, чтобы мне было видно: «Протокол допроса»... потом вписывает мою фамилию по мужу. Я поправляю его, называя мою отцовскую фамилию.

— Что, бережете его? Не поможет...

Он снова поднимает на меня глаза. Сейчас они уже налиты серой, тягучей скукой.

— Ну-с, так как же ваши партийные дела?

— Вы ведь знаете. Меня исключили из партии.

— Еще бы! Предателей разве в партии держат?

— Почему вы бранитесь?

— Бранитесь? Да вас убить мало! Вы — ренегат! Агент международного империализма!

Шутит он, что ли? Неужели такое можно всерьез? Нет, не шутит. Распалая себя все больше, он орет на всю комнату, осыпая меня ругательствами. Правда, это еще пока только политические оскорбления. Ведь это только февраль 1937-го. К июню он уже будет угощать арестованных самой отборной площадной руганью.

Он заканчивает длинный период ударом кулака по столу. Стекло на столе звенит. Под аккомпанемент этого дискантового звука на меня обрушивается как заключительный аккорд двухлетней пытки короткая фраза:

— Надеюсь, вы поняли, что вы арестованы?

Зеленые с золотом круги на обоях веверсовского кабинета понеслись вскачь перед моими глазами. Качнулся и сам кабинет.

— Незаконно! Я не совершала никаких преступлений, — еле ворочая сухим языком, произношу я.

— Что? Незаконно! А это что? Вот санкция прокурора на ваш арест. Пятым февраля датирована. А сегодня пятнадцатое. Все руки не доходили. Мне уже сегодня звонили из одного места. Что это, говорят, у вас враги народа свободно по городу разливают?

Я встаю и делаю шаг по направлению к телефону.

— Дайте мне возможность сообщить домой.

Он весело хохочет.

— Уморите вы меня! Да разве заключенным разрешаются телефонные разговоры?

— Тогда сами позвоните.

— Успеется. Аксенова это не так уж и интересует. Он ведь от вас уже отказался. Нечего сказать, пикантно! Член правительства, член бюро обкома — и такая жена! Да сейчас не в

этом дело. Надо протокол заполнить. Отвечайте на мои вопросы.

Он что-то пишет, потом прочитывает мне вопрос:

— Следствию известно, что вы являлись членом подпольной террористической организации при редакции газеты «Красная Татария». Подтверждаете ли вы это?

— Это бред! Никакой организации не было. Нигде я не стояла.

— Молчать!

Снова удар кулаком и жалобный дискантовый отзвук стекла.

— Вы мне этот дамский тон бросьте! Отгуляли в дамах. Теперь за решетку!

— Разве вы имеете право кричать и стучать на меня? Я требую встречи с начальником управления, с товарищем Рудь.

— Ах, вы требуете? Ну, мы вам покажем требования!

Он нажимает кнопку звонка. Появляется женщина в форме тюремной надзирательницы.

— Обыскать!

Я еще совсем неопытная заключенная. Все мои сведения о тюремных порядках исчерпываются воспоминаниями старых большевиков да книгами о «Народной воле». Поэтому я не только с омерзением, но и с удивлением слежу за движениями этих бесстыдных рук, шарящих по моим карманам, скользкими улиточными ползками пробегающих по моему телу.

Личный обыск закончен. Из орудий террора обнаружены случайно оказавшиеся в сумочке маленькие ножницы для маникюра.

Капитан Веверс нажимает другую кнопку. Появляется конвоир — мужчина. Веверс снова с ненавистью и презрением в упор смотрит на меня своими свинцовыми глазами.

— А теперь в камеру! В подвал! И будете сидеть до тех пор, пока не сознаетесь и не подпишете все!

#### Глава двенадцатая

### ПОДВАЛ НА ЧЕРНОМ ОЗЕРЕ

Черное озеро — это, собственно, название одного из городских садов в Казани. Когда-то, до революции, это было излюбленное место разгульных купчиков. Здесь был дорогой ресторан, эстрадный театр. Сейчас территория сада использовалась для различных выставок, а зимой здесь был каток.

Но после того, как областное управление НКВД переселилось на Черноозерскую улицу, прямо против сада, название «Черное озеро» перестали относить к саду. Слово приобрело тот же смысл, что «Лубянка» для Москвы.

— Не болтай, а то на Черное озеро попадешь!

— Слышали, его ночью на Черное озеро увели?

Подвал на Черном озере. Это словосочетание вызывало ужас.

И вот я иду в сопровождении конвоира в этот самый подвал. Сколько ступеней вниз? Сто? Тысяча? — не помню. Помню только, что каждая ступенька отдавалась спазмами в сердце, хотя в сознании вдруг мелькнула почти шутивая мысль: вот так, наверно, чувствуют себя грешники, которые при жизни много раз, не вдумываясь, употребляли слово «ад», а теперь, после смерти, должны воочию этот ад увидеть.

Тяжелая железная дверь скрипит очень громко. Но это еще только преддверие ада. Прокуренное помещение без окна, освещенное лампочкой, висящей под потолком. За столом — бледный человек в форме тюремного надзирателя. У него тяжелые набрякшие мешки под глазами, а глаза оскорбительно равнодушные, как у маринованного судака. Он смотрит на меня как на пустое место. Единственное, что его интересует во мне, — это мои часы. Пояса у меня ведь нет, я женщина. А назначение этого пункта — изъятие часов и поясов у новых заключенных. Чтобы не знали, который час, и чтобы не на чем было повеситься. Часы мои ему нравятся. Они у меня красивые, заграничные. Муж подарил после того, как потеряли тогда в сугробе старые. Он одобрительно разглядывает часы, и в его судачьих глазах мелькают живые искорки. Потом он приступает к заполнению анкеты. Оказывается, анкета требуется даже для входа в ад. Затем они обмениваются короткими репликами, смысл которых сводится, по-видимому, к вопросу о том, в какую камеру меня отвести.

А вот и сам ад. Вторая железная дверь ведет в узкий коридор, тускло освещенный одной лампочкой под самым потолком. Лампочка горит особым тюремным светом, каким-то багрово-красным накалом. Справа сырая, серая, в подтеках стена. Трудно допустить, что это одна из стен того самого дома, где расположен комфортабельный кабинет капитана Веверса... А слева...

Слева двери, двери, двери... Они заперты на засовы и огромные ржавые замки. Висячие, первобытные, какими, наверно, до революции закрывались какие-нибудь купецкие амбары в глухой провинции. И за этими дверьми люди? Конечно же! Коммунисты, товарищи мои, попавшие в ад раньше меня. Профессор Аксенцев, секретарь горкома Биктагиров, директор университета Веклин... И еще многие...

Холодное, разлившееся в груди отчаяние делает меня внешне абсолютно спокойной. Внутренне я подготовлена к одиночке. Поэтому, когда открывается со страшным громом и звоном одна из дверей, на которой написан номер 3, и я вижу силуэт человеческой фигуры внутри камеры, я воспринимаю это как неожиданный подарок судьбы. Значит, я буду не одна? Это уже счастье.

Дверь снова с тем же грохотом закрывается, шаги гулко удаляются в сторону, и я произношу спокойным голосом, обращаясь к стоящей у стены молодой женщине:

— Здравствуйте, товарищ!

Она еще несколько секунд продолжает стоять у стены в той же позе, в которой я ее застала. Она красива, одета в дорогое изящное котиковое пальто, на фоне которого эффектно выделяются ее золотистые волосы. Потом она вглядывается в меня внимательно, тревожно, как бы ища в моем лице ответа на какой-то вопрос, затем грустно улыбается и говорит:

— Здравствуйте. Садитесь вот сюда, на табуретку. Пальто не снимайте. Здесь холодно... Вы так спокойны... У вас, наверное, дома никто не остался?

— Дети... Трое детей. Два родных сына и падчерица. Маленькому четыре с половиной года.

— Несчастье-то какое! Бедная вы моя!

Она стремительно приближается ко мне, приседает на корточки и опять устремляет прямо в мои глаза тот же пытливый взгляд.

— О чем вы хотите спросить меня?

Секунду она колеблется, потом берет меня за обе руки и, смеясь, говорит:

— И спрашивать не буду. Сама вижу. Вы хорошая. Дело в том, что я все время боюсь, как бы ко мне шпионку не подсадили, которая будет меня выспрашивать, чтобы я на себя наговаривала и на папу. Папа ведь мой тоже здесь сидит. И брат... А мама совсем одна осталась. Больная. У нее руки покалечены после нападения хунгузов.

Я пока еще ничего не понимаю. То, что говорит эта молодая женщина, так далеко от моего замкнутого мирка научной и литературной партийной интеллигенции. Заграничница, что ли? Что это она говорит про хунгузов? Но отзвонное чувство симпатии возникает во мне. Это красивое простодушное лицо, прямо смотрящие карие глаза не могут принадлежать плохому человеку. И я пожимаю протянутые мне тонкие руки. Говорю успокоительно:

— Нет, я не шпионка. Я ни о чем не буду вас спрашивать. Вы можете мне ничего о себе не рассказывать, если не хотите. А я вам о себе расскажу все. Чтобы вы меня не боялись. Ведь мы вместе в таком страшном несчастье... Меня зовут Женей. Зовите меня так, хоть вы и моложе меня. А вас как?

Ее звали Ляма Шапель. Настоящее ее имя было Лидия, но за ней закрепилось то имя, которым она сама называла себя в младенчестве.

— Я кавежединка.

— Кто?

Я явно не знала ни такой профессии, ни такой национальности. Пройдет еще несколько месяцев, и я столкнусь в Бутырской тюрьме с десятками людей, называющих себя этим странным словом. Короче — это были русские люди, по большей части квалифицированные рабочие, служившие на Китайско-восточной железной дороге и приехавшие на Советскую родину после

того, как дорога была нами продана. Многие из них прожили там по многу лет и возвращались на родину с чувством глубокого волнения, любви и желания хорошо поработать. Почти все они были арестованы как шпионы, всем предъявлялись чудовищные обвинения в том, что они якобы «завербованы» японской или маньчжурской разведкой.

Ляме было двадцать два года. Она окончила гимназию в Харбине и работала машинисткой в железнодорожной конторе. Отец ее был старым железнодорожником. Брат, старше ее на несколько лет, сочувствовал коммунистам, подвергнулся репрессиям в Маньчжурии, приехал за несколько лет до всей основной семьи в СССР и поселился под Казанью в промышленном городке Зеленодольске. Ляма с отцом и матерью приехали к нему только после продажи КВЖД, несколько месяцев назад. Уже месяц, как ее, отца и брата арестовали. Всех обвиняют в шпионаже.

— Целый роман сочинили! Не переживет папа. Сердце у него слабое. А мама, я уже говорила вам, не сможет себе на хлеб заработать. Ее хунхузы изуродовали, пальцы на руках перебили.

То, что я рассказала Ляме о себе, было выше ее понимания. При всех моих педагогических навыках я никак не могла втолковать этому детищу другого мира, в чем именно меня обвиняют. Все наши «потери бдительности», «примиренчество», «гнилые либерализмы» звучали для нее китайской грамотой, вернее абракадаброй, так как в китайской-то грамоте она как раз неплохо разбиралась. Зато она уже была опытной заключенной и сразу ввела меня во все подробности предстоящего мне существования.

— Сейчас скоро уже ужин, а там и койки спускать будут. Хоть бы ночью на допрос вас не вызвали, дали бы отдохнуть после первого потрясения.

Тут только я заметила, что две железные койки подняты к стене на крючках. Спускать их разрешалось с одиннадцати до шести утра по специальному сигналу. В шесть — подъем и до одиннадцати лежать нельзя. Только стоять или сидеть на табуретках.

— Сегодня хороший дежурный, всегда больше каши дает. А у того, косоглазого, с голоду умереть можно... На opravку сегодня, наверно, после ужина пойдем. Сегодня с той стороны начали.

Скоро из коридора начали доноситься какие-то ритмические постукивания, сливающиеся с грохотом открываемых замков. Постепенно в камеру просочился тошнотворный запах тухловатой вареной рыбы. Даже на фоне всепроникающего запаха сырости и параша эта рыбная вонь вызывала отвращение.

Я с удивлением наблюдала, как изящная, красивая Ляма с аппетитом уничтожила сначала свою, а потом и мою порцию этой рыбы и сухой овсяной каши.

— Я не отказываюсь от вашей порции сегодня, знаю, что в первые дни не едят.

После еды Ляма встала у дверей, и как только раздался краткий возглас «Посуду!» и чуть приоткрылась тяжелая дверь, она поставила посуду прямо на пол.

— Из рук в руки мы им ничего не имеем права передавать.

После ужина повели на «оправку». Идти по коридору надо было гуськом, в абсолютном молчании. Уборная помещалась в самом конце коридора, и мы прошли мимо всех камер. Я жадно впивалась взглядом в каждую дверь, точно можно было через ее толщу увидеть томящихся в камерах людей.

Ляма заботливо вводила меня во все тонкости устава этого монастыря и инструктировала насчет способов, которые применялись для обмана надзирателей и следователей.

— Встаньте спиной к двери, быстро! — свистящим шепотом бросила она мне, как только мы остались вдвоем в уборной. Потом мгновенным движением она рассыпала по кургузой деревянной полочке над умывальником немного зубного порошка и так же мгновенно написала зубной щеткой на образовавшемся белом фоне мои инициалы.

— Те, кто пойдет после нас, прочтут и, может быть, догадуются, если они казанцы, что это вы. Передадут соседям. Связь установить — самое главное.

— А как передадут?

— Стучат.

— Вы умеете?

— Учусь. Сосед каждый день учит после обеда, когда смена дежурных. Вот что: когда пойдем обратно в камеру, старайтесь четко и легко отстукивать каблуками, чтобы было ясно, что походка женская. А проходя мимо пятой, покашляйте. Там, кажется, кто-то из крупных казанских партработников сидит. Может, узнает вас...

Окно камеры кроме толстой решетки загорожено еще высоким деревянным щитом, позволяющим видеть только крохотный кусочек неба.

— Темно здесь днем? Читать нельзя?

Ляма улыбается моей наивности.

— Темно, конечно. Подвал, да еще досками окно забито... А насчет чтения не беспокойтесь. Читать здесь не разрешают...

Ляма переходит на самый тихий шепот:

— Посмотрите внимательно на наш щит на окне. Ничего не замечаете?

Нет, я решительно ничего не замечаю. Решетки... Доски... Мир закрыт. Но оказывается, вот она, крохотная щель в этот мир. Между второй и третьей доской просвет примерно в палец шириной.

— Только бы не заметили они. А так, раз нас теперь двое, мы в эту щель во время прогулок все камеры пересмотрим и узнаем, кто где сидит. А там и связь наладить можно. Это са-

мое главное. Чтобы знать, кого о чем спрашивали и кто что ответил. А то ведь они так врут, следователи, так врут...

И намолчавшаяся за месяц одиночки Ляма долго, до самого «отбоя» горячим шепотом рассказывает мне обо всем: и о коварстве следователей, и о каких-то давнишних пикниках на китайской реке Сунгари, и о том, как жалко пропадающих вещей. «Особенно вот эту шубку. Котик натуральный, теперь век такую не справишь, а истрепала здесь совсем, ведь и парашу носишь, и в сырости сидишь...»

Я усердно слушаю ее, полная сочувствия и даже какого-то странного чувства стыда перед этой милой девушкой из незнакомого мне мира. Хотя я и сижу рядом с ней, но мне еще кажется, что я, как коммунистка, несу ответственность за то, что так горячо ожидаемая страна отцов встретила Ляму, веселую, смышленную, хорошую русскую девушку, вот этой камерой.

Отбой. Потрясающий лязг спускаемых железных коек наполняет весь подвал дьявольской музыкой. Разглядываю свое новое ложе. Я пока еще очень брезглива, и я старательно прикрываю соломенную подушку в серой наволочке своим кашне и носовым платком. Ляма утешает:

— Может, вам передачу разрешат...

Ложимся. Ляма засыпает со счастливой улыбкой. Перед сном она говорит мне:

— Спокойной ночи, милая Женечка! Как я рада, что вы со мной! Только теперь я вижу, как страшно было одной целый месяц. Ой, дура, что я сказала-то! Как глупо! Рада! Не тому, конечно, рада, что вы арестованы, а тому, что попали в мою камеру. Вы ведь понимаете, да?

Я все понимаю. Вернее, я уже ничего не понимаю. Этот день вместил в себя слишком много. Я закрываю глаза, и передо мной несутся видения: то лица моих детей, то затравленный последний взгляд мужа, то раскаленные очи Веверса, то «маринованный судак», разглядывающий мои часы, то китайская речка Сунгари, по которой плывут лодки со странными людьми. Они из племени кавежединцев. Какое нелепое название... Ляма... Еще несколько часов тому назад я не знала о ее существовании. Сейчас она как сестра мне...

Я уже почти погружаюсь в тряский и неверный тюремный сон, полный кошмаров. Но спать в эту первую тюремную ночь мне не было суждено. Снова гром, лязг засовов и замков и чей-то скучный, нарочито тихий голос:

— Приготовьтесь на допрос!

#### Глава тринадцатая

### СЛЕДСТВИЕ РАСПОЛАГАЕТ ТОЧНЫМИ ДАННЫМИ

Я часто думала о трагедии людей, руками которых осуществлялась акция тридцать седьмого года. Каково им было! Ведь

не все они были садистами. И только единицы нашли в себе мужество покончить самоубийством.

Шаг за шагом, выполняя все новые очередные директивы, они спускались по ступенькам, от человека — к зверю. Их лица становились все более неопишескими. По крайней мере я не могу найти слов, чтобы передать выражение лиц тех, кто стал уже Нечеловеком.

Но все это постепенно. А в ту ночь следователь Ливанов, к которому меня вызвали, выглядел самым обыкновенным служащим с легкой склонностью к бюрократизму. Спокойное сытое лицо, аккуратный почерк, которым он уже заполнил левую сторону протокола (вопросы), немного обывательские, чисто казанские интонации и даже отдельные словечки. Он говорил «ужо» вместо «потом», «давеча» вместо «раньше». Это напоминало няню Фиму и вызывало целый комплекс домашних чувств.

На минуту снова мелькнула надежда, что безумие может кончиться. Оно, безумие, осталось там, внизу, где лязг замков, налитые страданием глаза золотоволосой девушки с реки Сунгари. А здесь — обычный мир нормальных людей. Вон она звякает за окном трамваями, знакомая старая Казань. И окно здесь не с решеткой и деревянным козырьком, а с красивой гардиной. И тарелка, оставшаяся от ужина следователя Ливанова, стоит не на полу, а на тумбочке, в углу кабинета.

Может быть, он вполне порядочный человек, этот спокойный Ливанов, медленно записывающий мои ответы на ничего не значащие, почти анкетные вопросы: с какого года работала там-то и там-то, когда познакомилась с тем-то и тем-то... Но вот страница исписана, и следователь дает мне подписать ее.

Что это? Он только что задавал мне вопрос, с какого года я знакома с Эльвовым, и я ответила «с 1932-го». А здесь написано: «С какого года вы знакомы с ТРОЦКИСТОМ Эльвовым?» И мой ответ: «ТРОЦКИСТА Эльвова я знаю с 1932-го».

— Я так не говорила.

Следователь Ливанов смотрит на меня с таким недоумением, точно дело идет и впрямь о точности формулировки.

— Но ведь он же троцкист.

— Я этого не знаю.

— Зато мы знаем это. Мы установили. Следствие располагает точными данными.

— Но я не могу подтвердить то, чего не знаю. Вы можете меня спрашивать, когда я познакомилась с ПРОФЕССОРОМ Эльвовым. А троцкист ли он и знала ли я его как троцкиста — это уже другой вопрос.

— А вопросы, извините, ставлю я. Вы не имеете права диктовать мне формулировки. Вы только отвечаете.

— В таком случае запишите мой ответ не своими словами, а точно так, как я его формулирую. Кстати, почему нет стенографистки? Это было бы самое точное.

Эти мои рекордные по наивности слова покрываются вдруг

раскатами хохота. Хохотал, конечно, не Ливанов. Это в комнату вновь вошло само Безумие в лице лейтенанта госбезопасности Царевского.

— А-а-а... Сидите уже за решеткой? А давно ли в нашем клубе доклад о Добролюбове делали? А? Помните?

— Помню. Это было действительно глупо. К чему вам Добролюбов!

Смысл реплики не доходит до этого взлохмаченного сухопарого парня с лицом маниака.

— Так, стало быть, стенографистку требуете, ни больше, ни меньше? Юмори-и-стка! Кажется, снова в редакции себя вообразили?

Он быстрыми скачущими шагами подходит к столу, пробегает глазами протокол, потом поднимает взгляд на меня. Его глаза отличаются от глаз Веверса тем, что в них, наряду с упоением палачества, живет какая-то темная тревога, какой-то подспудный ужас.

— Итак, сидите уже за решеткой? — снова издевательски обращается он ко мне с интонацией такой острой ненависти, точно я убила его ребенка или подожгла его дом. Потом продолжает уже более спокойно:

— Вы понимаете, конечно, что ваш арест согласован с обкомом? Все раскрыто. Эльвов вас выдал. Да и муж ваш, Аксенов, тоже уже арестован и все рассказал. Он тоже троцкист.

Я мысленно сопоставляю это заявление со словами Веверса об отказе Аксенова от «такой жены». Да, Ляма была права. Врут они страшно.

— А разве Эльвов здесь?

— Да! Рядом с вами, в соседней камере. И все подписал против вас.

— Тогда дайте мне очную ставку с ним. Я хочу услышать, что он сказал обо мне. Пусть повторит в глаза.

— Ах, повидаться с дружкой захотелось?

И он отпускает гнусную циничную фразу. Впервые в жизни я слышу такое по отношению к себе.

— Как вы смеете! Я требую, чтобы меня провели к начальнику управления. Здесь советское учреждение. Здесь никто не имеет права издеваться над человеком.

— А враги народа для нас не люди. С ними все позволено. Также мне люди!

И он снова раздражается грязным гоготаньем. Потом он орет на меня во всю силу легких, стучит по столу точно таким движением, как Веверс, грозит мне расстрелом. Он требует, чтобы я подписала протокол.

С удивлением вижу, что спокойный, вежливый Ливанов взирал на это беснование с полным равнодушием. Для него это, видимо, привычное дело.

— Почему вы разрешаете вмешиваться в следствие, которое ведете вы? — спрашиваю я его.

Ливанов улыбается почти добродушно.

— Да ведь Царевский прав. Чистосердечное раскаяние облегчит ваше положение. Запирательство бесполезно. Ведь следствие располагает точными данными.

— Какими?

— О вашей контрреволюционной деятельности в подпольной организации, возглавлявшейся Эльвовым. Подпишите лучше протокол. Тогда к вам будет вежливое, спокойное отношение. Передачу разрешим. Свидание с детьми и мужем.

Пока говорит Ливанов, Царевский выдерживает паузу, чтобы с новыми силами наброситься на меня снова. После трех-четырех часов такой комбинированной обработки я окончательно убеждаюсь, что приход Царевского, принятый мной за случайность, — часть продуманной методики.

Синий февральский рассвет уже холодеет в проеме окна, когда наконец появляется вызванный звонком Царевского конвоир. Вслед мне несутся те же слова, которыми проводил меня накануне капитан Веверс. Только голос Царевского чаще слышается на фальцет.

— В камеру! И будете сидеть до тех пор, пока не подпишете!

Спускаясь по лестнице, в подвал, я ловлю себя на том, что тороплюсь в камеру. Там, оказывается, лучше. Там на меня смотрят человеческие глаза товарища по несчастью. И грохот замков лучше, чем визги иступленных Нечеловеков.

#### Глава четырнадцатая

### КНУТ И ПРЯНИК

За неделю я уже так основательно изучила все порядки, что, идя на допрос впереди конвоира, не ждала его указаний, а сама поворачивала все направо, к кабинету Ливанова, где иногда вместо него ждал меня Царевский, а иногда оба сразу. Поэтому я была поражена, когда, дойдя до второго этажа, услышала вдруг позади себя приглушенный, но отчетливый голос конвоира:

— Налево!

Новый кабинет был гораздо комфортабельнее ливановского. Широкие зеркальные окна были почему-то не задернуты гардинами, и я не смогла сдержать легкого возгласа изумления и восторга, увидав в этих окнах, как на экране, каток Черного озера. Цветные лампочки украшали его праздничными гирляндами. Мне виден был сидящий на возвышении духовой оркестр и мелькающие фигуры конькобежцев.

На секунду я замираю, не в силах оторваться от этого зрелища. Неужели такое еще существует на свете? На этом свете, где есть стоячие камеры и «особые методы», которыми мне ежедневно угрожают.

— Красиво, правда? — раздается вдруг так называемый «бархатный» баритон.

Только тут я замечаю невысокую коренастую фигуру военного, стоящего у бокового окна.

— Сегодня праздник, День Красной Армии. Большое соревнование конькобежцев, — объясняет он таким голосом, точно мы сидим за чайным столом. И совсем уже задушевно добавляет:

— Ваши старшенькие тоже, наверно, здесь? Алеша и Майя... Они ведь катаются на коньках?

Не галлюцинация ли это? Кто произнес в этих стенах имена моих детей? И я не выдерживаю. Сколько раз давала себе слово, что «они» не увидят моих слез. Но сейчас удар нанесен уж очень неожиданно. И слезы льются градом.

— О-о-о... Простите, расстроил вас. Да вы садитесь, пожалуйста. Вот сюда, в кресло, здесь удобнее.

Мой собеседник совсем не похож на «тех». Скорее он напоминает покинутый университетский мир. Светлые глаза смотрят сочувственно. Он заводит со мной непринужденную беседу, совсем как будто не связанную с моим «делом». О жизненном призвании. Он уверен, что я сделала ошибку, выбрав путь педагога, научного работника.

— Вы же прирожденный литератор. Дали мне вчера вырезки с вашими газетными статьями...

Я еще пока не понимаю, к чему все это. Но скоро все выясняется.

— Такая порывистая эмоциональная натура. Немудрено, что вы подпались на ложную романтику этого гнилого подполья...

Майор Ельшин выжидательно смотрит на меня. Но я уже стала ученая за эту неделю. Я твердо знаю теперь, что никакие страстные оправдания никому ничего не доказывают, только дают пищу для новых издевательств. Поняла, что «молчание — золото», что отвечать надо только на прямо поставленные вопросы, и то возможно короче.

— Да-а... — продолжает майор, — все мы были молоды, все увлекались, все могли ошибиться.

Тьфу ты, черт! Неужели он думает, что я не читала романов и повестей из истории революционного движения! Ведь в них все жандармские ротмистры именно этими самыми словами увещевали молодых студентов-террористов.

— Не курите? — любезно раскрывает он портсигар и продолжает, как бы рассуждая сам с собой. — Романтика... Огюст Бланки... Степняк-Кравчинский... Помните, «Домик на Волге»?

Заметно, что майор очень доволен случаем проявить такую блестящую эрудицию. Он вдохновляется и произносит целую небольшую речь, — минут на десять, — смысл которой сводится к тому, что я веду себя неправильно. Я ведь не в гестапо попала. Это там были бы уместны гордое молчание, отказ от подписывания протоколов, нежелание назвать сообщников. А здесь

ведь я в своей тюрьме. Он уверен, что в душе я осталась коммунисткой, несмотря на допущенные тяжелые ошибки. Надо разоружиться, стать перед партией на колени и назвать имена тех, кто толкнул порывистую эмоциональную натуру на участие в гнилом подполье. А потом вернуться к детям. Кстати, они мне кланяются. Майор вчера только беседовал по телефону с товарищем Аксеновым. Этот честный коммунист мучительно страдает, узнавая, что его жена все углубляет свои ошибки неправильным, прямо несоветским — уж майор скажет напрямик — поведением...

Молчу как убитая, стараясь глядеть в угол, поверх головы майора. Он неправильно истолковывает мой взгляд, относя его к тарелке с бутербродами, стоящей на тумбочке в углу.

— Простите, не догадался вам предложить. Пожалуйста. Может быть, вы проголодались? Вы немного бледны. Впрочем, это вам идет. Такая интересная женщина. Немудрено, что этот Эльвов потерял голову, не так ли?

Горка бутербродов с нежной розовой ветчиной и слезящимся швейцарским сыром вырастает передо мной.

Проголодалась ли я? Всю эту неделю я почти ничего не ела, кроме куска черного хлеба с кипятком, — не в силах преодолеть брезгливость к тюремным мискам, к вонючей рыбе.

— Спасибо. Я сыта.

— Ай-ай-ай! Вот и это плохо. Считаете нас врагами? Не хотите из наших рук принимать пищу?

Снова молчу, стараясь теперь не глядеть не только на майора, но и на бутерброды. Тогда он с кротким вздохом убирает их со стола и кладет на их место несколько листов писчей бумаги и автоматическую ручку.

— Напишите нам все. Все, что было, с самого начала. Я пока займусь своими делами, а вы пишете. Как можно подробнее. Оттените главных заправил. Напишите, кто из редакционных и университетских был особенно активен в нападках на линию партии. Да и в среде татарских писателей... Да уж не мне учить вас писать.

— Боюсь, майор, что это не мой жанр.

— Почему же?

— Да вы ведь сами говорили, в каких жанрах я пишу. Публицистика. Переводы. А вот жанр детективного романа — не мой. Не приходилось. Вряд ли я смогу сочинить то, что вам хотелось бы.

Майор Ельшин криво усмехается, но продолжает оставаться любезным. По-видимому, его амплуа строго ограничено «пряником» и кнут ему применять не положено.

— Пишите. Посмотрим, что выйдет у вас.

— Что же писать об университетских? Ведь они все уже арестованы, — пытаюсь я выудить у своего любезного собеседника какие-нибудь сведения.

— Почему же все? Вот, например, профессор Камай. Кто же

его арестует? Не за что! Бывший грузчик, татарин, ставший профессором химии. Преданный член партии.

— Да, это, наверно, последний остался профессор из грузчиков. Теперь вы больше профессоров на грузчиков переделываете.

Терять мне уже нечего — теперь я убеждена в этом — и потому изредка позволяю себе немного дерзить.

— Ай-ай-ай, — по-отечески журит меня майор Ельшин, — ну, сами скажите, разве от этой вашей шуточки не отдает троцкистским душком? Разве не взята она из гнилого арсенала троцкистского оружия?

Пожалуй, бумагу и перо надо использовать. И я пишу. Пишу подряд четыре часа заявление на имя начальника управления НКВД, которого я еще здесь не видела, но с которым познакомилась еще до ареста на одном из партактивов. Пишу о недопустимых приемах следствия, об угрозах и бессонных ночах, о Царевском и Веверсе. Прошу очной ставки с Эльвовым, свидания с мужем. Описываю весь ход своего «дела» сначала в партийных инстанциях, потом в подвале. Заканчиваю заявлением, что я твердо решила не лгать партии и не приписывать себе, а тем более другим коммунистам фантастические злодеяния, измышляемые следователями в неизвестных мне целях.

Майор Ельшин уже очень устал. Через два примерно часа он звонит куда-то, и на смену ему приходит... все тот же Царевский. Именно ему и приходится сдать написанное мною заявление.

Он приходит в исступление: брызжет слюной, изрыгает ругательства, хватается за револьвер. Но я знаю, что убивать им запрещено, тем более что следствие еще не закончено. Об этом мне подробно рассказала Ляма, мой милый тюремный инструктор.

И я молчу. Молчу и мечтаю о своей камере. Но он держит меня до самого подъема, до шести утра.

Позднее я узнала, какой счастливый номерок мне достался в этой лотерее. Ведь мое следствие кончилось еще в апреле, то есть до того, как Царевские и Веверсы получили право не только изрыгать непотребные ругательства, но и пытаться физически, надругаться над телами своих жертв.

## Глава пятнадцатая

# ОЖИВШИЕ СТЕНЫ

Меня вдруг перестали вызывать на допросы. Шли дни за днями, тюремные будни обрели некий ритм, определяемый выдачей кипятка, пятнадцатиминутной прогулкой в тюремном дворике под двумя взятыми наперевес штыками, обедом, «оправкой». Следователи как будто забыли о моем существовании.

— Это они нарочно, — говорила Ляма, — меня вот уже три недели не вызывали. Это чтобы человек осатанел от тюрьмы и начал с отчаяния подписывать всякую галиматью.

Но я была так истерзана первым знакомством с черноозерским «правосудием», что была рада этой передышке.

— А мы давайте не осатанеем, Ляма. Давайте используем это время для изучения обстановки. Сами же вы говорили, как важно завязать связи. Ведь он все стучит, правда?

Да, он все стучал, наш сосед слева, каждый день после обеда. Но замученная допросами, я еще как следует не прислушалась к стуку. А Ляма приходила в отчаяние от непостижимости тюремной азбуки.

Постепенно мы установили одну закономерность: в те дни, когда наш сосед слева ходил «на оправку» раньше нас, — а это мы безошибочно определяли по шагам в коридоре, — в уборной, на полочке для мыла, по рассыпанному тонким слоем зубному порошку обязательно было выдавлено чем-то тоненьким, может быть булавкой, — «Привет!». И как только мы возвращались в камеру, сосед сейчас же выстукивал нам в стену что-то короткое, лаконичное и немедленно замолкал. Эти стуки отличались от его длительных послеобеденных передач, которыми он старательно пытался обучить нас азбуке.

Так повторялось несколько раз, и наконец меня осенило.

— Привет! Он выстукивает привет! И пишет и выстукивает одно и то же слово. Теперь, когда мы знаем слово, мы ведь можем сообразить, как обозначаются входящие в него буквы.

Подсчитали.

— Поняла! — восторженно прошептала Ляма. — Каждая буква обозначается двумя видами стуков — отдельными и частыми. Всего он простучал шесть букв. Да? Шесть? То есть — п-р-и-в-е-т!

Впоследствии, сидя в тюрьмах долгими месяцами и даже годами, я имела возможность наблюдать, до какой виртуозности доходит человеческая память, обостренная одиночеством, полной изоляцией от всех внешних впечатлений. С предельной четкостью вспоминается все когда-нибудь прочитанное. Читаешь про себя наизусть целые страницы текстов, казалось давно забытых. В этом явлении есть даже нечто загадочное. Во всяком случае, в тот день, после опознания выстуканного в стену привета, я была поражена той отчетливостью, с какой перед моим мысленным взором вдруг предстала страница книги, читанной примерно в двадцатилетнем возрасте. Это была страница из книги Веры Фигнер «Запечатленный труд». На этой странице приводилась тюремная азбука.

Я взялась за виски и тоном сомнамбулы сказала Ляме, сама поражаясь своим словам:

— Весь алфавит делится на пять рядов. В каждом — пять букв. Каждая буква обозначается двумя стуками — отдельными

и частыми. Первые обозначают ряд, вторые — место буквы в данном ряду.

Потрясенные открытием, перебивая друг друга, забыв на минуту об опасности подслушивания дежурным надзирателем, мы составили нашу первую передачу. Она была коротка.

— К-т-о в-ы? — спросили мы своего соседа.

Да! Все было правильно. Мы почувствовали через каменную глыбу восторг нашего адресата. Наконец-то поняли! Увенчалось успехом его беспримерное терпение.

— Там-там-там-там-там! — Этим радостным мотивчиком он отстукал, что понял нас. С тех пор именно этот стук стал условным знаком взаимопонимания.

И вот он стучит нам ответ. Теперь уже не дурочкам, которым надо тысячу раз повторять «привет», а понимающим людям, которым он сообщает свое имя.

— С-а-г-и-д-у-л-и-н!

— Что? Сагидуллин?

Ляме это имя ничего не говорит, но мне... Стучу гораздо смелее:

— Тот самый?

Да, он подтверждает, что он «тот самый» Гарей Сагидуллин, имя которого уже много лет упоминается в Казани только с суффиксом «щина». «Сагидуллинщина». Это был один из разделов программы в сети партийного просвещения. Буржуазный национализм. Султангалеевщина и сагидуллинщина. Но ведь он был арестован в 1933 году. Как же попал сюда сейчас?

За стеной почувствовали мое смятение. Поняли его причину. И вот я принимаю передачу:

— Был и ос-тал-ся ле-нин-цем. Кля-нусь седь-мой тюрь-мой...

А дальше уже что-то совсем непонятное:

— Верьте мне, Женя!

Откуда он знает, что я Женя, откуда через стенку при такой изоляции узнал, кто сидит рядом? Мы переглядываемся испуганно. Слов не надо. И так ясно. Призрак провокации встает перед нами.

И он опять почувствовал, что означает наше замешательство. Терпеливо все объяснил. Оказывается, и у него в оконном щите есть щелка. Давно видел нас на прогулке. Узнал меня, так как знал в лицо, хоть и не были знакомы. Видел меня в Москве, в Институте красной профессуры. Сидит один. Привезли на переследствие. Предъявляют дополнительные обвинения. Пахнет вышкой.

С этого момента наши тюремные дни насытились интересным содержанием, хотя внешне ничто не изменилось. Уже с утра я мечтала о послеобеденном часе смены дежурных, когда они, сдавая один другому свое людское поголовье, несколько отвлекались от подглядывания в глазки и подслушивания. Тогда наступал самый удобный час для стенного телеграфа.

Новый мир раскрывался передо мной в лаконичных стуках Гарей. Мир лагерей, ссылок и тюрем, мир трагических развязок, мир, приводивший попавших в него людей то к полному душевному краху, измельчанию, опустошенности, то к рождению настоящего мужества.

Я узнала от Гарей, что все, кто был арестован в 33-м и 35-м, привезены сейчас на так называемое «переследствие». Никаких новых обстоятельств, требующих пересмотра их дел, нет и не было. Просто надо было, как цинично выражались следователи, «перевести все эти дела на язык 37-го года», т. е. заменить полученные этими людьми пятилетние и трехлетние сроки заключения более радикальными мерами истребления крамолы. Еще важнее была другая цель — вынудить этих «опытных» оппозиционеров (у некоторых из них вся оппозиция заключалась в какой-нибудь еще не апробированной мысли по вопросам теории, как, скажем, у Василия Слепкова в «Проблемах методологии естествознания») давать свои подписи под сфабрикованными следователями чудовищными списками так называемых «завербованных». Подписи вымогались угрозами, руганью, лживыми обещаниями, карцерами. (К избиениям начали обращаться только начиная с июня-июля, после процесса Тухачевского и других.)

Гарей страстно ненавидел Сталина, и на мой вопрос о причинах всего происходящего кратко и твердо простучал:

— Коба. Восемнадцатое брюмера. Физическое истребление лучших людей партии, мешающих или могущих помешать окончательному установлению его тирании.

Впервые в жизни передо мной встала задача самостоятельного анализа обстановки и выбора линии поведения.

— Вы ведь не в гестапо попали, — звенели у меня в ушах слова майора Ельшина.

Да, насколько проще и легче было бы все, если бы это было гестапо! Я очень твердо знала, как должен вести себя коммунист, попавший туда. А здесь? Ведь надо самой определить, кто они, эти люди, держащие меня здесь. Переодетые фашисты? Или жертвы какого-то неслыханного обмана, какой-то изощренной провокации? И как должен коммунист вести себя в «своей» тюрьме, выражаясь словами того же майора?

Все эти мучительные вопросы я выстукивала Гарей, который был на десяток лет старше меня годами и на пятнадцать — по партийному стажу.

Но то, что он советовал, не подходило мне и вызывало удивление: как может он предлагать такое? До сих пор не понимаю, что толкнуло его, Слепкова и многих других из «ранее репрессированных» вести себя так, как он советовал мне.

— Говори прямо о несогласии с линией Сталина, называй как можно больше фамилий таких несогласных. Всю партию не арестуют. А если будет тысячи таких протоколов, то возникнет мысль о созыве чрезвычайного партийного съезда, возникнет

надежда на «его» свержение. Поверь, внутри ЦК его ненавидят не меньше, чем в наших камерах. Может быть, такая линия будет гибельная для нас лично, но это единственный путь к спасению партии.

Нет, так поступать я не могла. Хотя я и чувствовала смутно, еще не зная этого точно, что вдохновителем всего происходящего в нашей партии кошмара является именно Сталин, но заявить о несогласии с линией я не могла. Это было бы ложью. Ведь я так горячо и искренно поддерживала и индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства. А это и была ведь основа линии.

Тем более нечестно было бы называть чьи-то имена, зная, что одного упоминания имени какого-либо коммуниста в этих стенах вполне достаточно для его гибели, для сиротства его детей.

Нет. Уж если догматические навыки, привитые мне всем воспитанием, пустили в моем сознании такие глубокие корни, что я не могу сейчас дать самостоятельного анализа положения в стране и партии, то буду руководствоваться просто голосом совести. А значит — говорить только правду о себе, не подписывать никаких провокационных выдумок ни о себе, ни о других, не называть ничьих имен. Не верить никаким софизмам, оправдывающим ложь и братоубийство. Они не могут быть нужны той партии, в которую я так верила, которой решила отдать всю свою жизнь.

Все это я — конечно, гораздо короче — перестучала Гарее.

В течение двух-трех дней я настолько освоила технику перестукивания, а через неделю так здорово владела ею, что мы с Гареем часто перестукивали друг друга стихи. Мы понимали друг друга с полуслова, давая об этом знать специальным сигналом, что тоже ускоряло наше общение, сокращая слова. Удар кулака означал опасность со стороны надзора, и справедливость требует отметить, что Гарей давал этот сигнал куда чаще, чем я. Я, наверно, попалась бы, если бы не он. Он не терял бдительности даже при самом интересном разговоре.

Я никогда не увидела этого человека. Его расстреляли. Я не имела возможности уточнить его политические взгляды. Со мною из того, что он говорил, я была несогласна. Но знаю одно: с покоряющим мужеством переносил он седьмую по счету тюрьму, одиночку, перспективу расстрела. Сильный, настоящий был человек.

#### Глава шестнадцатая

### «ПРОСТИШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?»

Пошел второй месяц в тюрьме. После первых активных допросов меня продолжали выдерживать без вызовов наверх. Только однажды меня вызвали к следователю Крохичеву, который передал мне записку от мамы, состоящую из двух слов:

«Дети здоровы». Потом он сообщил, что мне разрешена передача, и, наконец, пристально глядя на меня красными, как у всех следователей, глазами, нечленораздельно буркнул, что был Пленум ЦК, февральско-мартовский Пленум, что, возможно, дела мои еще не так-то плохи, только надо вести себя разумно.

Однако долго питать радостные иллюзии мне не пришлось, так как Гарей на другой же день простучал, что наши местные хозяева сначала было не поняли смысла решений пленума, навивно прочтя их буквально. Но теперь уже получены дополнительные инструкции. Понимать все надо наоборот, идут новые аресты, а на допросах стали шире применяться зверские методы.

Однажды после обеда, в неположенный час, вдруг загромыхал замок и засов на нашей двери. Вошли два надзирателя.

— Третья! — взволнованно шепнула Ляма.

— Горячий сезон. Путевок не хватает, — мрачно сострила я.

Через десять минут дверь снова прогрохала, и в камеру вошла молодая женщина с красными пятнами на щеках, с расширенными от ужаса глазами. Лицо показалось мне знакомым. Оказалось — это Ира Егерев, аспирантка биофака университета, гидробиолог. Я встречала ее в коридорах университета, знала, что это единственная избалованная дочка из профессорской семьи. Что она могла иметь общего с политическими «преступниками»? Какие извилистые пути привели ее сюда?

Четыре года тому назад она посещала семинар Слепкова и даже немного пококетничала с красивым талантливым профессором. Сейчас она была арестована по обвинению в участии в группе правых. Была она очень беспартийной и понятия не имела, чем отличаются правые от левых, и вообще, с чем все это едят.

Не успела Ира кратко ознакомить нас со своей трагикомической историей, как раздался короткий стук в стену.

— Я не один, — простучал Гарей.

Его новым соседом стал Бари Абдуллин, второй секретарь обкома партии.

Незадолго до моего исключения из партии у меня была с ним неприятная встреча. Я приходила в обком жаловаться, что у меня не принимают членских взносов. Секретарь парторганизации боялся принять их у меченого человека. Как я ни уговаривала его, доказывая, что раз я еще не исключена, то платить взносы обязана, — это не помогало.

Абдуллин принял меня в обкоме. Я спросила его, что мне делать: оставаться в партии на таком положении, когда у тебя не хотят принимать взносов? Или положить билет на стол, дав этим новую пищу для обвинений?

Не поднимая глаз от бумаг, он ответил тоном, категорически пресекавшим возможность дальнейших разговоров:

— Партия имеет основание не доверять вам, особенно после того, как вы отказались признать свои ошибки.

А до этого мы с ним были друзьями, несколько лет жили рядом на даче.

И вот он рядом со мной, в подвале Черного озера, в одной камере с тем самым Сагидуллиным, имя которого он произносил раньше только тоном самого ортодоксального негодования.

Секретарь обкома. Человек, которым гордился татарский рабочий класс. Неужели Гарей прав, утверждая, что Сталин решил физически уничтожить весь цвет партии?

К вечеру из тревожного стука Гарей мы узнали, что Абдуллина предъявлено обвинение в пантюркизме, в связях с Турцией, в шпионаже, а также, вероятно, в том, что у алжирского бая под самым носом шишка.

— Следствие полагает, что Абдуллин хотел включить бывшую Казанскую губернию в состав Османской империи, — ехидно комментировал Гарей.

Однако через несколько дней стало не до смеха. Тон передач резко изменился.

— Абдуллина держали на конвейере двое суток непрерывно. А когда он все-таки отказался подписать предъявленный ему бред, увели обратно не в камеру, а в стоячий карцер.

Содержание в этом карцере принадлежало к числу тех «особых методов», которыми мне постоянно грозил Царевский. Помещался этот карцер в «подвале подвала», то есть в самом подполье, куда не проникал ни один луч света. Я прежде думала, что стоячим карцер называется потому, что в нем нет табуреток. Наивность! Стоячий карцер имеет такую площадь, на которой человек может ТОЛЬКО стоять, и то опустив руки вдоль туловища. Сесть там попросту НЕТ МЕСТА.

— То есть человек замурован в стене?

— Вот именно!

Подавленные, мы сидели почти двое суток в полном молчании. Даже Ира перестала спрашивать меня, что такое правый уклон, в котором ее обвиняют. И Гарей не стучал. Настроение не изменилось даже тогда, когда мне принесли обещанную Крохичевым передачу. Я только тупо рассматривала присланный мамой махровый купальный халатик, напоминающий о пляже, о море, о доброжелательных улыбающихся людях. На фоне этих воспоминаний еще рельефнее вырисовывалась фигура замурованного в стене человека. И не просто человека, а Бари Абдуллина, который еще недавно делал на партактиве доклад о международном положении; который бегал по дачным аллеям, везя на плечах свою дочурку, а по воскресеньям играл в волейбол в одной команде со мной.

Наконец раздался стук Гарей.

— Приволокли без чувств. Разрешили опустить койку. Ввели камфару. Сейчас лучше. Просит папирос. Нет ли у тебя?

Да, они были. Две пачки. Не знаю, почему маме пришло в

голову положить их в передачу. Я никогда не курила. Может быть, она думала, что в такой обстановке надо курить? Или приняла в расчет моих возможных товарищей? Так или иначе, они были. Но как передать?

Гарей простучал точную инструкцию. Если завтра нас поведут на оправку раньше, чем их, то мы должны захватить с собой папиросы, неся их под полотенцем. Та, что понесет, должна идти первой. Остальные две, идущие гуськом, должны растянуться по возможности дальше. Когдаходишь в коридорчик, ведущий в уборную и душевую, надо наклониться и быстро положить папиросы в маленькое отверстие под дверь душевой. Это налево. Та, что пойдет третьей, должна в самых дверях споткнуться о порог и задержаться таким образом конвой.

Мы стали напряженно готовиться к ответственной и тонкой операции. Прежде всего возникла дискуссия внутри нашей камеры. Осторожная Ира возражала против передачи целой пачки. Ее могут заметить, она будет высовываться из отверстия. Тогда нас всех сгноят в карцере. Ляма, наоборот, выдвинула программу-максимум. Что значит несколько папирос для человека в таком состоянии? Обе пачки! И еще мыло впридачу! Да, пусть Женя отдаст ему туалетное мыло, присланное мамой. Пусть он, бедный, хоть умоется дочиста после такого ужаса. А то им ведь, наверно, еще меньше, чем нам, обмылочки дают.

Я заняла среднюю позицию. Или обе пачки папирос без мыла, или одну пачку и мыло. Иначе обязательно попадемся. После долгих споров решили: одну пачку папирос и мыло.

— Тогда давайте еще кусок сливочного масла. У нас ведь его в передаче целых 300 граммов. Знаете, как ему сейчас важно питание. Фосфор. Для мозга. Чтобы не потерять выдержку!

Милая Ляма! Она не сдавала марксистского минимума, как Ира, недавно защитившая кандидатскую. Она была простой машинисткой и массу свободного камерного времени отводила рассказам о своих пропавших заграничных туалетах. Но когда в дальнейшем мне приходилось сталкиваться с подонками человечества, я старалась себя утешить мыслями о Ляме, о ее настоящим бесстрашии, великодушии, размахе.

Упаковка нашей посылки тоже была делом хитрым. Ведь выражение «пачка» папирос — это была чистейшая условность, так как сама пачка была разорвана и выкинута надзирателями. Папиросы передавались только в рассыпанном виде, после тщательной проверки каждой штучки — не спрятана ли в ней записка? Мыло тоже передавалось без обертки и было проткнуто во многих местах перочинным ножом. Масло — в банке. Даже самый ничтожнейший клочок бумаги был здесь тяжелым криминалом.

Чем же связать папиросы? Пробовали волосами. Мы с Лямой надергали друг у друга порядочный пучок. Но волосы скользили и расплетались.

— Ах мы глупые! — хлопнула себя по лбу Ляма. — У нас ведь ниток сколько угодно...

Мой махровый халат... Из него были надерганы отличные прочные нитки. Папиросы туго и надежно перевязаны. К неистово благоухающему земляничному мылу привязали два тонких ломтика хлеба, густо намазанных маслом.

Сама операция была проведена блестяще. Наиболее ответственную и трудную задачу — идти первой и положить передачу в отверстие под дверь душевой — взяла на себя Ляма. Я должна была идти третьей, возможно более растягивая шествие, и главное — натурально споткнуться у порога уборной, задержав этим надзирателя. Ире предлагалось идти между нами, и ей мы отводили, так сказать, негативную задачу: не делать страшных глаз и идти, как обычно.

Все разыгралось как по нотам. Ляма змейкой проскользнула в дверь коридорчика, когда Ира, я и замыкающий шествие надзиратель были еще довольно далеко. Она отлично успела уложить вещи в отверстие и даже проверить — не заметно ли? Я так здорово инсценировала боль в коленке, споткнувшись о порог, что конвоир даже буркнул: «Смотреть надо...»

Семь-восемь минут, которые прошли между нашим возвращением из уборной и приходом наших соседей, тянулись очень долго. Но вот снова грохот замка. Скорей бы уж заперли! Готово. Дежурный надзиратель удаляется в конец коридора.

— Там-там-там-там-там!

Радостно выстукивает Гарей. А потом уже медленно и членораздельно: «Ум-ные! Сме-лы-е! Доб-ры-е!»

У всех нас такое чувство, какое, наверно, испытывают солдаты после боя. Усталость и изумление перед собственным героизмом. Быстрее всех отвлекается от героических мыслей Ляма. Она уже спрашивает, красивая ли жена у Абдуллина и хорошо ли она одевается.

К вечеру стена вдруг заговорила необычным голосом. Кто-то стучал медленно и осторожно, очень неопытной рукой.

— Же-ня! Же-ня! — зовет стена.

Это Абдуллин. Его осторожные стуки складываются наконец во фразу, понятную только мне:

— Простишь ли ты меня?

— За что это он прощения просит? Может, у вас с ним роман был, Женечка?

А Абдуллин, видимо до основания потрясенный всем происходящим, никак не успокаивается. Стучит и стучит.

— Как ты могла пойти на такой риск? В ответ на мое бездушие? Что было бы, если бы вы попались?

— А попадаться не надо. Надо овладевать тюремной техникой. А техника, как известно, в период реконструкции решает все.

## НА КОНВЕЙЕРЕ

За меня снова взялись. Меня поставили «на конвейер». Непрерывный допрос. Они меняются, а я остаюсь все та же. Семь суток без сна и еды, даже без возвращения в камеру. Хорошо выбритые, отоспавшиеся, они проходили передо мной как во сне. Ливанов, Царевский, Крохичев, Веверс, Ельшин и его «ассистент» — лейтенант Бикчентаев — коротенький розовощекий парнишка с мелкими кудряшками, похожий на закормленного орехами индюшонка.

Цель конвейера — истощить нервы, обессилить физически, сломить сопротивление, заставить подписать то, что им требуется.

В первые дни я еще отмечала про себя индивидуальные особенности каждого из сменяющихся следователей. Ливанов по-прежнему спокоен, официален. Он настаивает на том, чтобы я подписала самую чудовищную чушь, с таким видом, точно это самая естественная и притом незначительная часть некой канцелярской процедуры. Царевский и Веверс всегда орут, угрожают. Веверс при этом нюхает белый порошок — кокаин. Нанюхавшись, он не только угрожает, но и хохочет надо мной.

— Ха-ха-ха! Что стало из бывшей университетской красотки! Да вам сейчас сорок лет можно дать! Не узнал бы Аксенов свою кралю. А еще немного поупрямитесь, так и совсем в бабусю превратим. Вы еще в резиновом карцере не бывали? Ах, нет? Ну, значит, еще все впереди...

Майор Ельшин остается неизменно галантным и «гуманным». Он любит говорить о моих детях. Он слышал, что я хорошая мать. А оказывается, я своих детей совсем не жалею. Осведомившись, почему это я стала такая «бледненькая», услышав в ответ, что меня допрашивают без сна и еды уже четверо или пятеро суток, он «изумляется».

— Неужели стоит так себя мучить, чтобы не подписать вот этого чисто формального пустякового протокола? Подписывайте быстро и ложитесь спать. Прямо здесь, на диване. Я скажу, чтобы вас не тревожили.

В пустяковых протоколах говорилось, что я по поручению Эльвова организовала при Союзе писателей Татарии филиал редакционной террористической группы, завербовав туда следующих людей. Дальше шел список татарских писателей, начиная с тогдашнего председателя союза Кави Наджми.

— Жалеете Наджми? А он вас не жалел... — загадочно бросает майор.

— Это дело его совести.

— Да что вы — евангельская христианка, что ли?

— Просто честный человек.

Майор снова не упускает случая блеснуть эрудицией и произносит краткую речь на тему марксистско-ленинского учения о морали. Честно то, что полезно для пролетариата и его государства.

— Для пролетарского государства не может быть полезно истребление первого поколения татарской советской творческой интеллигенции, к тому же партийной.

— Мы имеем точные данные, что эти люди — враги народа.

— Тогда зачем же вам в дополнение к этим точным данным еще и мои показания?

— Для документального оформления.

— Я не могу оформлять то, что мне неизвестно.

— Вы не верите нам?

— Как же я могу вам верить, когда вы меня ни за что ни про что держите в тюрьме, да еще применяете незаконные методы следствия?

— Что же мы делаем незаконного?

— Уже много дней не даете мне спать, пить и есть, чтобы вынудить у меня лживые показания.

— Пожалуйста, пообедайте. Сейчас принесут. Подпишите только. Сами себя мучаете...

Лейтенант Бикчентаев, который теперь всегда приходит вместе с майором, видимо проходит практику, стоит «на подхвате», повторяя концы фраз, как годовалый младенец, начинающий говорить.

— Сами виноваты, — говорит майор.

— ... виноваты, — как эхо, откликается лейтенант.

— Только задерживаете следствие... — Это майор.

— ... следствие! — подтверждает лейтенант.

Однажды майор Ельшин составил протокол о моих отношениях с татарской интеллигенцией.

— Для чего вам, человеку, знающему французский и немецкий, потребовалось приняться за изучение татарского языка?

— Для литературно-переводческой работы.

— Но ведь это язык некультурный...

— Некультурный? А вы тоже такого же мнения, лейтенант?

Индюшонок молчит, смущенно улыбается. После этой прелюдии мне предлагают подписать протокол, в котором сказано, что по заданию троцкистского центра я пыталась наладить беспринципный блок с буржуазно-националистическими элементами татарской интеллигенции. Я еще острою:

— Да, всю жизнь мечтала объединить мусульманский мир для торжества ислама.

Майор похотывает, но есть и пить мне все-таки не дает и спать не отпускает.

Тогда мне казалось, что страдания мои безмерны. Но через несколько месяцев я узнала, что мой конвейер был детской

игрушкой сравнительно с тем, что практиковалось позднее, начиная с июня 1937 года. Мне не давали спать и есть, но я сидела, а не стояла на ногах сутками. Мне давали иногда воду из следовательского графина. Меня не били.

Правда, однажды Веверс чуть не убил меня, но это произошло под влиянием кокаиновых паров, в состоянии невменяемом, и страшно испугало самого Веверса.

Произошло это, кажется, в пятую или шестую конвейерную ночь. Я была уже в полубредовом состоянии. Чтобы оказать «давление на психику», практиковалось усаживание арестованного очень далеко от следователя, иногда через всю комнату. В данном случае Веверс усадил меня у противоположной стены и стал орать свои вопросы через весь большой кабинет. Речь шла о том, с какого года я знаю профессора Корбута, примыкавшего в 1927 году к троцкистской оппозиции.

— Не помню, с какого года точно, но давно, еще до голосования его за линию оппозиции.

— Что-о-о? — Распаленный кокаином и моим упорством, Веверс окончательно сатанеет. — Оппозиция? Вы именуете эту банду убийц и шпионов оппозицией! Ах вы...

Большое каменное пресс-папье с веверсовского стола со всего размаха летит в меня. Только увидев дыру в стене на расстоянии сантиметра от моего виска, я осознала, какая опасность мне грозила.

Веверс испугался до того, что даже подал мне сам стакан с водой. Руки его тряслись. Убивать следственных до смерти им еще не разрешалось. Он немного увлекся.

На седьмые сутки конвейера меня отвели этажом ниже к полковнику, фамилии которого не могу вспомнить. Здесь впервые мне было предложено стоять во время допроса. Я засыпала даже стоя. Тогда по обеим сторонам около меня было поставлено по конвоиру, которые все время расталкивали меня, приговаривая: «Спать нельзя!»

В сознании вдруг всплыла аналогичная сцена из фильма «Дворец и крепость». Точно так допрашивали Каракозова. Так же мучили бессонницей. Потом все помутилось у меня в голове. Как сквозь густую пелену я видела брезгливую мину полковника, заметила револьвер, лежавший на столе, очевидно для устрашения. Очень раздражали меня, помню, кружкí на обоях. Такие же, как в кабинете Веверса. Они непрерывно плясали перед глазами.

Совсем не помню, что я отвечала этому полковнику. Кажется, я больше молчала, только изредка повторяя: «Не подпишу!» Он то грозил, то уговаривал, обещал свидание с мужем, с детьми. Потом все смешалось. Я упала.

Глубокий обморок длился, по-видимому, так долго, что они вынуждены были остановить свою машину. Я очнулась в камере, на своей койке. Открыв глаза, я увидела склоненное надо мной,

залитое слезами милое лицо Лямы. Она влила мне в рот по каплям апельсиновый сок, только что присланный в передаче Ире.

Скоро послышались тревожные вопросы в стенку. Гарей и Абдуллин беспокоились.

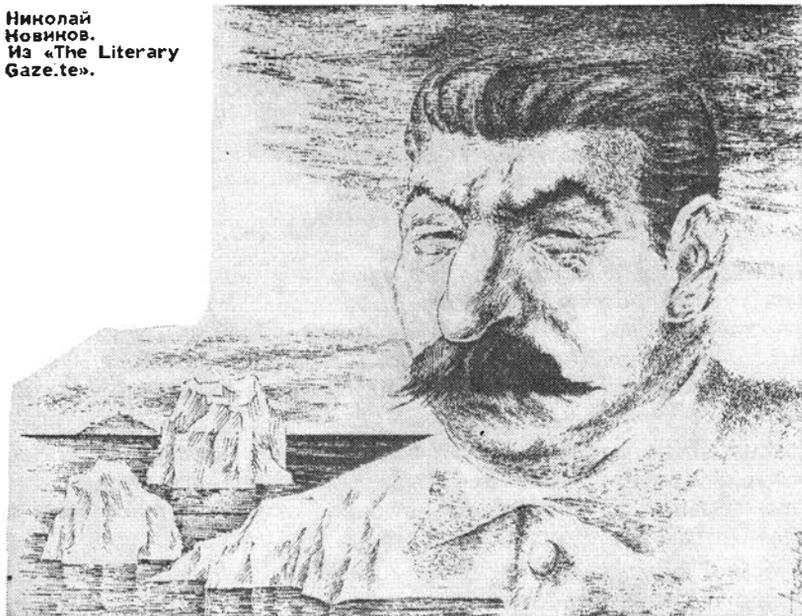
— Пришла в себя? Отлично. Поцелуйте за нас.

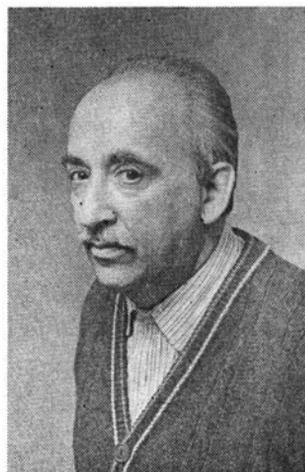
Принесли ужин. Я съела две порции омерзительной похлебки, именуемой у нас в камере «суп-ротатуй». На закуску Ира торжественно выложила два квадратика шоколада из своей передачи.

Я только успела подумать о том, как добры люди, как меня снова вызвали к следователю. Конвейер продолжался.

(Продолжение следует)

Николай  
Новиков.  
Из «The Literary  
Gaze.te».





## ЗА ПРОЛЕТЕВШЕЮ ЗВЕЗДОЙ

«То, что поэзией мы называем —  
это отдача крови, капля за каплей...»

Возможно, эти строки Эгилса Плаудиса не слишком оригинальны, но, думаю, они вернее всего выражают его сущность. За свой недолгий век (1931—1987), постоянно находясь на грани между жизнью и смертью, Эгилс в прямом смысле слова вливал по капле в каждое стихотворение свою кровь — самого себя. «Поэзия мертва уже в зародыше, если она запрограммирована как мораль. Поэзия рождается мертвой, если у пишущего было намерение выразить некую мысль. Поэзия живая и такой останется, если поэт отдает нам свой мир, каким он его получил от соприкосновения с другими мирами — наблюдая, слушая, вдыхая, гуляя, думая, читая...» — так сказал о своем творчестве он сам.

Эгилс Плаудис — поэт, как говорится, милостью божьей, «золотой самородок» латышской поэзии (так его охарактеризовал Имманс Зиедонис), один из самых ярких и самобытных латышских лириков не только современности, но всего XX века. Обычно Эгилса Плаудиса причисляют к романтической ветви латышской поэзии, но реалистический характер и реалистическое содержание его творчества несомненны. В то же время поэтическая энергия Эгилса Плаудиса выходит за пределы привычных представлений о природе латышского характера и о латышской традиции. Продолжая то направление латышской поэзии, которое представлял его отец, поэт Я. Плаудис, поэты А. Чак, Э. Адамсон и другие, Эгилс Плаудис обогатил его опытом немецкой, французской и, особенно, испанской и латиноамериканской поэзии, что придает его поэтическому чувству особое очарование, выразительность и насыщенность. Главное в творчестве поэта, думается, не живая и необычная образность, не стиль и не музыкальность, а скорее — интонация, необыкновенно гибкая, щемлящая и завораживающая, что так трудно полноценно передать в переводе.

Девять книг — таково наследие Эгилса Плаудиса, которое еще ждет своей оценки, а каждая новая публикация его стихотворений — это попытка приблизить нас к пониманию его своеобразного, незаурядного таланта.

Леон БРИЕДИС

\* \* \*

Ни хлеб тащить меня не подрядят,  
Ни мерять бычьей поступью дорогу,  
А губы на приказ трубить тревогу  
Легко коснуться горна захотят.

Скворцы резвясь над вишней пролетят.  
Грош солнца незатоптанный растает.  
Орда, гремя булатом, наступает,  
Мне — сквозь глядеть, сквозь все полки подряд,

Как облако — на мой призывный свист —  
Наполненное стихшими ветрами,  
Невидимое бранными полками,  
Над ними вспыхнет, словно аметист.

\* \* \*

Ветер движет алое облако  
Через небесный мир.  
Когда я пойму, что весь мир повидал,  
Тогда и придет мой миг.

А пока я миру желаю,  
Чтоб он ширился и выростал,  
Чтоб самый огромный колокол  
Его конца не достал;

Любая рыжая белка  
Или заяц, ребенок лесной, —  
Это малое чудо, такое же,  
Как яблоко весной;

Будь то блоха или молния —  
Все они движут мир;  
Нам работы достанет,  
Пока не придет наш миг.

\* \* \*

Родник тебе щекочет ноги  
И к морю из дому манит  
Через потоки и дороги.  
Родник тебе щекочет ноги,  
Легки все ветры на пороге,  
А уж в мечтах корабль бежит.  
Родник тебе щекочет ноги  
И штормы впереди сулит.

\* \* \*

Омуты, омуты родины,  
Сколько же надо вам солнца!  
Сколько же кануло сказок  
В топкие ваши оконца!

Канут, болотная выпь закричит.  
И вслед не заплачет никто.  
Сами собой золотые лучи  
Падают в бурую топь.

У тебя много солнца, родина,  
Полям довольно его.  
Но лучи, утонувшие в омуте,  
Так жаль — не пойму отчего...

\* \* \*

Старое слово — доброе слово.  
Воздух, вода, огонь.  
Старое слово станет свирепым,  
Когда разгорится оно.

Если не слышишь, то как узнаешь,  
Благо в нем или зло?  
Только земля остается,  
И камень лежит тяжело.

\* \* \*

Синие сливы уже горят  
Поздние пчелы еще роятся  
В вереске в белом песке  
В каждой часовне  
В каждом пульсе колокол шальный  
И мы в осень пойдем  
С горою горящих листьев  
Со сливами в баночках  
С пчелами в ульях

\* \* \*

В девятиэтажном доме  
Синичка клюет семена  
На самом нижнем окошке  
Я поднимаюсь по этажам  
Так что совсем запыхался  
И вот я уже на пятом  
Летние пчелы и радость  
Все это меня ослепляет  
Но снаружи зима наступила  
Она меня ждет обратно

\* \* \*

Мне этот рот не нужен.  
Пускай улыбается  
И красные яблоки ест.

Мне эта улица не нужна.  
Пускай пересекается  
С той, которая дальше ведет.

Мне эти скворцы не нужны.  
Пускай из своей черноты  
Делают светлые песни.

Мне это окно не нужно.  
Пускай блестит  
На утреннем солнце.

\* \* \*

Рыже-голубые крыши,  
Посреди большой сугроб.

Нежно-голубые тени  
В детстве где-то далеко.

Я увижу ль, я узнаю ль,  
Где мой месяц ночевал?

Я увижу ль светлый полдень?  
Только у тебя в зрачках.

\* \* \*

Скатилась по стеклу слеза,  
Гляди-ка, замерзает.  
Умчалась летняя гроза  
К полуденному краю.

Тосклива осень, но верна —  
Останется со мной.  
Укроет Даугаву она  
Одеждой ледяной.

За пролетевшею звездой  
Плывет певучий звон.  
В моих седилах свить гнездо  
Спешит семья ворон.

\* \* \*

Мне бы всю жизнь хотелось  
В серебряном озере плавать —  
А теперь я в тростник пустотелый  
Дую так, просто так, для забавы.

Над тростником на рассвете  
Ветер северный пролетел.  
Тростник пригнулся под ветром,  
Ты — вовремя не сумел.

Бегут, задыхаясь, над озером  
Серые облака;  
Осталось одиночество —  
Дудочка из тростника.

\* \* \*

Снова в колодец луна слетела.  
Заяц щиплет кислицу у пня.  
Вечность рядом со мною села  
И по-собачьи рычит на меня.

Вечность, вечность! Костей тебе мало?  
Сколько ты их в земле собрала,  
Сколько под солнцем их выгорало,  
Чтоб у поэтов работа была!

Заря раскалилась, как чашка с чаем.  
Заяц все щиплет кислицу у пня.  
Вечность паспорт свой предъявляет.  
Солнечный мяч летит на меня.

\* \* \*

Нам хочется так просто-просто  
Защебетать и засвистеть.  
Стремятся птицы в мир огромный,  
Чтоб гнезда вить и песни петь.

Что ни яйцо, то новый голос,  
Что ни гнездо, то хор поет.  
Нам горло иссушает горечь,  
Но надо проглотить ее.

Кто птичью суть в нас уничтожит?  
Кто нам прикажет камнем стать?  
Перо у солнца вырвать может  
Тот, у кого душа проста.

## **ВОЖАТЫЙ**

Приходит время уйти из дому  
И за собою вести незрячих  
Сквозь ржу трясины, сквозь вереск синий,  
Сквозь красный вишенник — под звездою.

Нас души ушедших ведут из дремоты —  
Дни за днями, года за годами —  
На звон бесплотный, дурман болотный,  
На зов голосов, заглушенный мхами.

Зачем? — вопрос этот их не мучит.  
Что им расправа, что — звонкая слава:  
Ни дух, ни смертный — никто не вправе  
Избрать своевольно иную участь.

Боль в крыльях. Время уйти из дому  
И за собою вести незрячих  
Сквозь ржу трясины, сквозь вереск синий,  
Сквозь красный вишенник — под звездою.



## ЕДИНОРОГ

Рассказ

Перевел Леон ГВИН

Юрис ЗВИРГДИНЬШ появился на свет 13 февраля 1941 года, в день рождения Жюль Верна. Всю жизнь живет в Риге, в Торнякалнсе, дважды — недолго — был студентом Латвийского государственного унн. верситета (сначала изучал историю, затем латышский язык и литературу), но система образования и Юрис остались не удовлетворены друг другом.

Перепробовал Звиргздиньш множество профессий, был, в частности, и хлебопеком, и приемщиком молочной тары, а в 1960 году, работая дежурным электриком, написал свое первое произведение — не то поэму, не то балладу (автор не уверен в жанре).

Сегодня, если не считать прозы, он пишет и радиопьесы, иногда они передаются по латвийскому радио. Поэтика произведений Юриса Звиргздиньша определяется его принадлежностью к «битникам» и резко отрицательным отношением к его творчеству тех, кто определил официальную литературную политику в шестидесятые и семидесятые годы.

М. ЗЕЛМЕНИС

Ты живешь, работаешь, встаешь спозаранку, домой приходишь поздно, выгуливаешь хозяйского пса Джери, платишь тридцатку за неотапливаемую веранду, где цветы зимой не вянут месяцами, ты вечно мерзнешь, и кажется, так будет всегда, матери у тебя нет, у отца новая жена, сама ты из деревни, друга тоже нету, и еще, ко всему, ты невинна, с ума сойти! — как сказала бы — и говорит ведь — моя подружка Мара.

Раздается телефонный звонок, моя автобиография сожмана и брошена в огонь, словно кожа царевны-лягушки!

«Вот так, решено и подписано! СВЕЧА И ДОЖДЬ И ПЛУГ И МОЛНИЯ СВЕРКАЕТ ВДРУГ! — основывается его музей! Нам переходит этот дом, остается предоставить квартиры той ораве, которую он сюда впустил! Все будет сделано, сам Азан обещал. Я буду директором, ты — моим заместителем по научной работе! Зарплата, в общем с голоду не помрешь. И вот еще что: там такой флигелек, в нем разный хлам, но есть отопление! Я все разнюхала!» — такова уж моя подружка Мара, ее стиль, а что я? — семью рядом с ней, как собачонка!

Так я стала — официально! — заместителем директора (-ши) нового музея, у меня будет телефон и визитные карточки, когда в типографии отпечатают, и у меня есть отапливаемая пристройка!

Странно, но я никогда не была в писательском музее, так вышло, что тут поделаешь. От нас ближе всего «Мусмаяс» Яунсудрабина, наш класс ездил туда на экскурсию, а мне пришлось остаться дома, ухаживать за скотиной некому было — мама уже болела. ЕГО я тоже при жизни не видела; когда училась в Риге, накатывало время от времени желание поехать взглянуть на него хотя бы краешком глаза, но... а потом уже было поздно, некрологи во всех газетах, слезы, и море людей, и сознание, что Его уже нет, и только СВЕЧА И ДОЖДЬ И ПЛУГ И МОЛНИЯ СВЕРКАЕТ ВДРУГ! — и вот теперь я буду работать и жить в Его доме.

Пенаты — не просто дом, а пенаты, меня все тянет на возвышенный стиль! — словом, дом стоит на пригорке, утопая в деревьях, клены, вязы и ясени, у калитки две сине-голубые ели, на задворках огород, где целый день гнет спину тетушка Ольга, она живет в первом этаже, рядом с ней — комната старой учительницы музыки барышни Рекстынь, в полуподвале, там, где котел центрального отопления и бункер для угля, в двух комнатах с низкими потолками, но зато сухих, живет Антон с тремя дочурками, дети тихие, задумчивые, их и не слышно, мать у них в санатории неподалеку отсюда, за озером, и каждый вечер, зима ли на дворе или лето, они всей гурьбой отправляются ее навещать.

За домом огород переходит в луг, дальше — озеро, большое как море, другой берег виден только в ясную погоду. Зимой через озеро ведет тропка-ниточка, на том берегу сельмаг и почта, а там уже начинается настоящая сельская местность. Часто наезжают любители подледного лова, у автобуса здесь кольцо; попетляв, он возвращается в Ригу. Вот уже года два как мы числимся на территории города, но у нас почему-то по-прежнему говорят «поехать в Ригу».

По соседству живет цыганская семья, их бабуся иногда приносит нам рыбу, сын наловил, она присаживается на крылечко, закуривает — времена меняются! — папиросы и болтает со мной и тетушкой Ольгой, часами могу слушать ее трепотню про старые времена, старинный баронский замок, чумное кладбище, про ее собственную невестку, которая малость того. «Она поет! Ишь, соловушка, а Зухру мне одной приходится воспитывать!» Зухра скачет вокруг с Антоновыми девчонками, как вороной жеребенок, тут раздолье, есть где побеситься. «Только чтоб возле озера я вас не видела, цыган молодец, да не пловец, и кто утопнет, пускай домой не показывается, получит по мягкому месту!» — ухмыляется бабушка Зухры и возвращается к рассказу про шикарный индийский фильм, на который вчера сводил ее сын, не куда-нибудь, в Ригу, в кино «Айна»!

О Нем здесь все говорят так, будто он все еще живет среди нас, разве что на минуточку вышел. Тетушка Ольга, кажется, тут сто лет живет, помнит Его отца. — Ох, суров был, завсегда в очках, а носом в книгу, жена его померла молоденькой; когда

из Сибири вернулся, перво-наперво сказал: «Хорошо, Ольга, что вы мне эти книги сберегли, да и сына тоже!» — Нет, человек он был неплохой, в книгах великая мудрость, я ничего не говорю, но правда — она вот где, в сердце она у человека! — В глазах тетушки Ольги заблестели слезинки. — А сын, это был человек! Для каждого найдет доброе слово, и для дитяти, и для букашки-таракашки... И я не потому это говорю, что его вырастила, у меня самой оба сыночка в России остались после первой мировой, от холеры померли, и мужа там схоронила, одна-одинешенька приехала... Можешь поверить, мне иногда кажется, что это он всю жизнь был моим единственным ребенком! — Тетушка Ольга поворачивается к нам спиной, и вот она уже склонилась над грядками с цветами.

Рядом с тетушкой Ольгой живет барышня Рекстынь, тихая такая, хрупкая. Как-то зимним вечером она позвала нас, нет, скорее церемонно пригласила, к себе. Изящные чашечки, печенье, скатерть, вышитая хозяйкой, вся в одних незабудках, на стене в подobaющих рамах «Остров мертвых» Беклина и портрет Гарибальди, в углу пианино, всюду кружевные салфеточки, на книжных полках и этажерках томики с выцветшими корешками, немецкая и французская поэзия, нигде ни пылинки, прямо плюнуть некуда.

Из серебряного кофейника нам наливали такой крепкий кофе, что мы с Марой аж кряхтели от наслаждения, и Мара восхищенно шептала: — Нет, вы просто волшебница! Арабика! Фея! А посуда! А печенье! От самого Гегингера! — Целый день мы с ней перелистывали наверху журналы «Атпута», комментируя вслух моды двадцатых-тридцатых годов, вот откуда изысканный лексикон моей Мары, отсюда!

Сидим, пьем кофе, и барышня Рекстынь показывает нам альбомы со снимками ее родни, там скауты, пьеса Бригадере «Принцесса Гундега и король Брусубарда» в постановке школьного театрала, группа воспитанников консерватории в Италии, на Капри, сама барышня Рекстынь с венчиком уже седеющих волос возле рождественской елочки, в окружении детей.

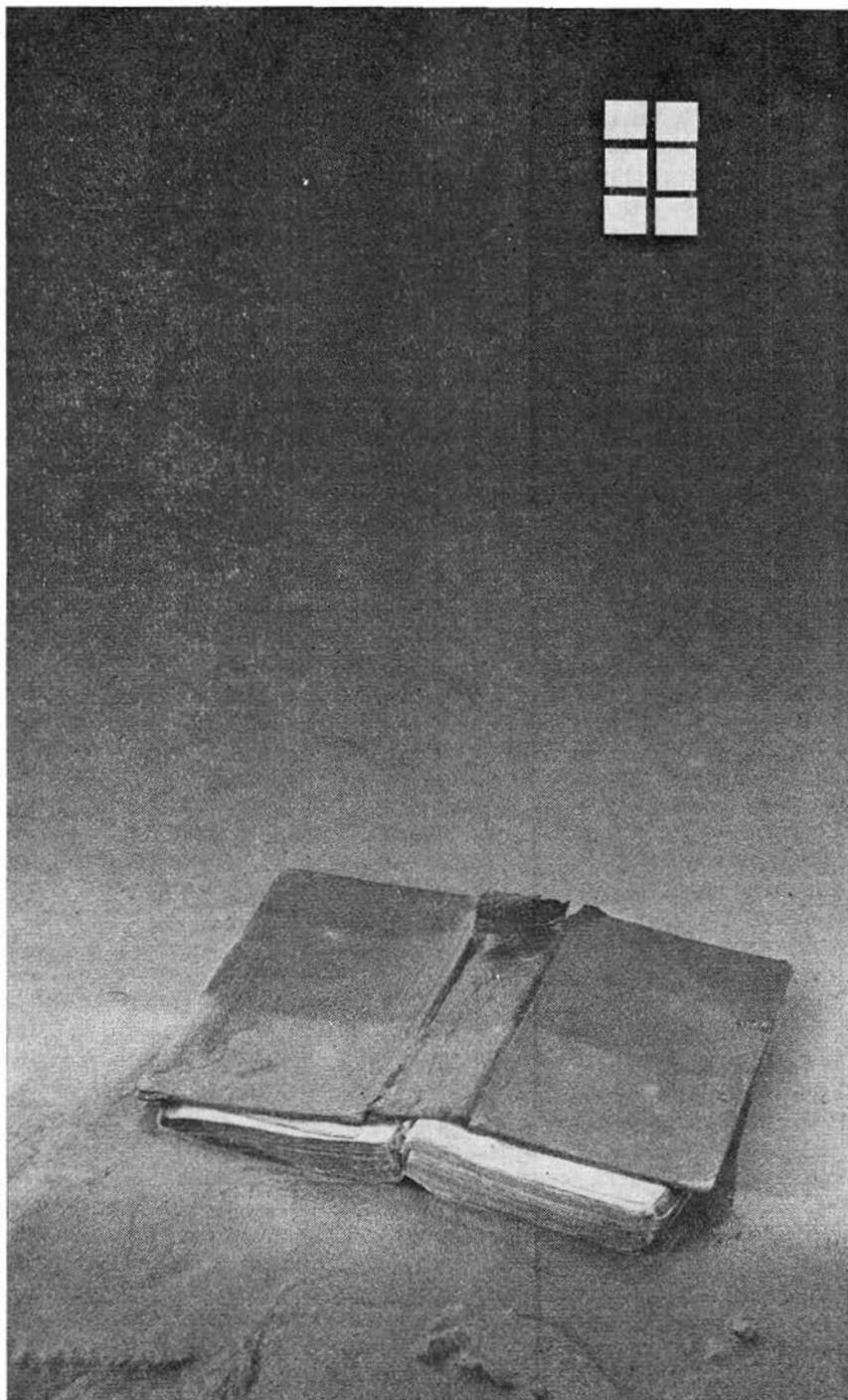
— Как бежит время! Это ОН, я держу его за руку, видите, в костюмчике гнома!

Мы слушаем и киваем.

— И вот однажды, я жила тогда на Ключевой, в коммунальной квартире, не без проблем конечно, но я не жалуясь! — он приехал на грузовике, покидал туда мои вещи, меня — в кабину и привез сюда! Так мы с тех пор здесь и живем!

Так мы теперь здесь и живем, в Его доме. Я привожу в порядок и разбираю материалы для будущего музея. Весь второй этаж заставлен книжными полками и шкафами, книги еще его деда, провизора, в кожаных переплетах, на немецком и латыни, потом юридическая литература отца едва ли не на всех европейских языках. Далее его собственные книги и рукописи, по-

Иллюстрация Агиса Иевиньша



рядок, если таковой существовал, был известен только ему одному, все вверх дном, книги, журналы, газеты, начатые и незаконченные переводы, варианты, черновики, писанные карандашом, ручкой, на машинке, записи на расклеенных конвертах, на вырванных из тетради и перегнутых пополам листочках, вычерки, исправления, пометы на полях: «Какая наивность! Как зелены мы были! И это, это поэзия?!»

Определенно многого не хватает, тетушка Ольга говорит, что по утрам он, бывало, сносил вниз на растопку целые вороха бумаг.

— И я спасала, что еще можно было спасти. И Алисочка, его жена, золотой человек! — спасала что могла! Вот что с ним сделаешь? Они с Зухрой сворачивали из этих бумаг лодочки и баловались на озере или пускали самолетики через окно!

Многое принесла мне тетушка Ольга, кучу стихов переписала своим бисерным почерком барышня Рекстынь, Зухра тоже принес книжечку, переплетенную Им самим, с Его собственноручными иллюстрациями — Цыганенок-месяц — готовая детская книжка, и никому не известная!

Всюду в книгах закладки, записки, полоски исписанной газетной бумаги. Как понять, имеют эти тексты отношение к литературе или нет?! Часто повторяется один и тот же текст: «Научиться плавать!» Там же: «Перевести Христиана Мергенштерна! Выучить древнерусский язык!» Или: «Кто же на самом деле победил в войне Алой и Белой Розы? Может, больше!!!» Еще: «Первый курильщик в Европе — Френсис Дрейк, капитан корвета, многая лета, многая лета!» Потом, и не один раз, такая запись: «Налить молока ужом, не забыть!» (Это я выясняла у тетушки Ольги. — Да, вот она! — и показала на зеленую мисочку. — Я ему говорю, — рассказывает тетушка Ольга, — а что если этот уж и не придет вовсе? — но он, язычник наш, только усмехается и знай твердит: — Ну а как явится? Придет, глянет — а мисочка пуста! Что обо мне подумает?)

Потом этот перевод брюсовского «Огненного ангела», почти законченный, никто ему не заказывал его, нет! — переводил в собственное удовольствие, как-то вечером я принялась за чтение, фантастически! и этой Ренаты так жаль, жалко, что не кончил, ну почему, почему Он так рано ушел от нас!

Листки календаря, у него была привычка их замарывать, и тоже не поймешь, что всерьез, а что мистификация, чистое чудачество. Цитирую, к примеру: «ЛЕСНЫЕ НИМФЫ — да, я их видел, и не однажды!» Или: «ЕДИНОРОГ!!!» — именно так, с тремя восклицательными, и этот ЕДИНОРОГ повторяется много раз, и никаких комментариев. Потом еще: «Снова прибежал ЧОРНЫЙ ПЕС. Проболтали весь вечер». (Оказывается, черный пес — совершенно реальное существо, прибывался иногда к нашему жилью, обнюхивал все углы и снова убежал, отец Зухры, он тут со всеми знаком и знает, кто каких собак держит, отец Зухры уверяет, что в округе ни у кого такого пса нету, может

из самой Риги является, так или иначе, а выглядел он ухоженным и из наших рук, как мы его ни приманивали, еды не брал.)

ЕДИНОРОГА этого, его я обнаружила наверху, над диваном, репродукция, выдранная из какой-то книги, за два уголка к стене приклеенная. Диван-то сам короткий, махонький, накрыт полосатым пледом. — Еще бабушкой его из Руены соткан, я и по сей день в толк не возьму, как Он мог на диване помещаться, не гномик ведь какой-нибудь! В отца пошел, в отца. Вот и сын такой же, еще увидишь, плавает по морям по волнам маленький Ояр, в честь Ояра Вацietиса назвали, теперь уж у самого двое мальцов, в голове не укладывается, что Ояр был бы уже дедушкой, ну дак с детьми, с ними-то он всегда ладил! — рассказывает тетушка Ольга.

По стенам — две постели знаменитого Ирбе, один рисунок Падеги, вид Торнякалнса работы Карлиса Вейтнера, все это мне поведала барышня Рекстынь, мы таких в школе не проходили или, может, я пропустила мимо ушей? Потом еще — всякие карты развешаны и большая связка лука. — Ее принесла ему та дама — композитор, на день рождения, все уселись вокруг времяночки, она тут еще со времен войны стоит, он не велел выбрасывать, привык значит, здесь — Ояр Вацietис с женой, здесь — та дама, он спустился и меня позвать, чего уж я, старый человек, говорю, вечеряйте без меня, а он ни в какую! И Айночка (это барышню Рекстынь Айной зовут) за фортепьяно, приданое Алисопкино, и ну петь всякую чепуху, ерунду всякую — старые попевки и романсы, церковные песни, ну все подряд! — но ему нравилось, сидел и слушал, сам правда гундосил что твой овод! — взойдя к нам наверх, рассказывает тетушка Ольга.

Я жила себе и работала как у бога за пазухой. Время от времени Мара приведет в музей какую-нибудь группу, то робких сельских учительниц, то индийских писателей, они разбредутся по всему дому, и вдруг — караул, одного нет, мы обыскались, часа три по всем углам шарили, а он нашелся где бы вы думали? Оказалось, с Зухрой на лодке по озеру катались, все наговориться не могли, а главное, оба в один голос уверяют, что отлично друг друга разумели! Потом как-то приехала эта ленинградская переводчица, я помогала ей изготавливать подстрочник, с утра до вечера мы загорали на лугу, а ели только салат и лук, прямо с грядки — Не, Заночка, никакой смятаны, только трауку, одну только трауку!

Время от времени, обыкновенно зимою, Мара заявлялась с целой компанией молодых писателей и художников. Среди них попадаются и толковые ребята, и вот мы пьем липовый чай и мятный чай, варим глинтвейн с гвоздичкой и корицей или вдруг — находит же! — принимаемся печь оладьи, а еще мы поем! Тут, конечно, и пересуды, разговоры о работе, сплетни, экстрасенсы, маньяки, видеоклипы.

— Раньше — это да, лет десять назад... мы что, мы потерянное поколение! Раньше, они вот, это да, разжигали камин, горели свечи, сухое вино, Джон Леннон, Джоан Баез, Имант Калниньш, дела... — млела от восторга творческая молодежь, и неподдельное слышалось, ностальгическое восхищение. Вечера и вправду были интересные, разные люди, какая-то, помню, художница, вся в браслетах, одна молодая поэтесса, которая весь вечер молчала и вдруг спрашивает у меня, где туалет. «Предается медитации», — пока художница отсутствовала, шепнула мне не то Ингрида, не то Ингеборг, вечно я путаю этих Мариных подружек! Как интересно, подумала я, мало ей что поэтесса, еще медитирует! Сидевший рядом со мной юноша, про которого Мара сказала, что это будущий поэт, лив по национальности, к тому же у него хорошие стихи, с чувством пожимал мою руку и пытался заглянуть мне в глаза, ну и ладошки, почему я не могу на один вечер стать его музой?

Сменялись магнитофонные кассеты, Йоко Оно, Пумпуре, Иева Акуратере, Окуджава, дальше мы пели сами дайны и песни на Его слова, и потом, взяв меня за локоть и склонившись к самому уху, Мара сказала: — Ты только не смейся, — я кивнула, — мне кажется, тут где-то бродит котик Скалбе! Чепуха конечно, но мне... мне действительно чудится... — Этого я от Мары никак не ожидала, при чем тут герой сказок Карлиса Скалбе, как плохо мы все-таки знаем людей, человек сложнее, чем наше представление о нем. Ах да, это же Его мысли, как это верно подмечено! — подумала я и еще мне пришло в голову — ОН ТАК БЫ НИКОГДА НЕ ПОДУМАЛ...

Среди всей этой суматохи — типичный Марин текст! — у меня был один абсолютно серьезный роман с неким литературоведом, очки, ходячая энциклопедия, все как полагается, пока однажды ночью... — Бродит вдоль книжных полок, очки поблескивают, как глаза кошачьи, и вдруг заявляет: «Да тут целая диссертация выходит, докторская получается, правда, Заночка?» Этого ему не следовало говорить, все что угодно, только не это! Почему, я не могу объяснить, но на этом между нами все было кончено, пункт и alles! — как изъяснялась насчет романа своей молодости барышня Рекстынь — пункт и alles!

Теперь у меня дочурка, это никого не касается, матерью-одиночкой я себя не считая, у меня Лаума, у нее я, и еще — alles тетушка Ольга, барышня Рекстынь, все три Антоновых дочки, сам Антон, Зухра, которому осенью стукнет одиннадцать и который ходит в хореографическое училище, бабушка Зухры, Мара! У кого повернется язык сказать, что Лаума растет в неполной семье!

Мара привезла из ГДР целую уйму детских вещичек, как только она все это уволокла! — и сказала: — Ты это брось! Всякие там благодарности... Я, я буду твоему ребенку вместо отца, понятно? Думаешь, легко мне было ходить с Иевочкой, а этот счастливый отец шлялся вокруг — охота, и финские бани,

и ралли, а у меня сессия на носу, и обеим мамашам виду не кажи! Поэтому брось выкаблучиваться, ясно?

Такая вокруг тишина и покой у нашего порога, такая аура, как выражались в компании Ингриды-Ингеборг, так и кажется, что я прожила здесь всю жизнь. Лето и зима, и снова, и снова, как в древней гэльской (кельтской?) песне, и это тоже из его записей — ПРИЛИВ И ОТЛИВ, ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И ПРЕБУДЕТ ВЕЧНО — ПРИЛИВ И ОТЛИВ.

Дом напоминает по ночам большой молчаливый корабль, приткнувшийся к берегу озера. Какое-нибудь окно всегда освещено. Вот барышня Рекстынь сидит за столом, в чашке дымится мятный чай, медленно переворачиваются страницы альбома, серебрятся лики на фотографиях, ноты, привязанные к пяти линейкам, ждут утра, и потом — скорее, скорее! — за фортепиано, наполненные смыслом звуки, рождаясь и истаивая под пальцами, приближаются к вечной гармонии и не достигают ее...

Светится окно тетушки Ольги, ей не спится, все разматывается клубок воспоминаний, мелькают спицы, шевелятся пальцы, клубки лениво переваливаются с боку на бок, утро на выпасе, сенокос, болотный аир, осока, стук колес, Россия из конца в конец, тиф и холера, три могильных холмика вдоль железнодорожной насыпи, журавлиный клин в небе, колодезный журавль, Полкан, очередь за очередью, узор за узором...

Свет в окне моего флигелька. За окном волком завывает ветер, над печной трубой призраками мчатся облака, чу! звякают оконные ставни, гудят радиаторы, стучат ходики, древоточцы своими крошечными зубками грызут ножку шкафа, бьется в окно ночная бабочка, зимой слышно, как падает снег, и вот — чьи-то легкие шаги вокруг дома, осенью шуршат листья, зимой ломается, хрустит наст, нет, это не человек и не собака, поутру никаких следов, это и не игра моего воображения, на нервы я, дитя природы, не жалуюсь! Это шаги и ничто иное! Может, так ходит-бродит единорог? Он же видел его, явственно видел, это точно. Иначе стал бы ОН писать, я цитирую: «ЕДИНОРОГ... ЕДИНОРОГИ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ, ПОЙМАТЬ ИХ НЕ ПОД СИЛУ ДАЖЕ САМОМУ ЛОВКОМУ ОХОТНИКУ. ОНИ ПРИХОДЯТ И УХОДЯТ, КОГДА ИМ ВЗДУМАЕТСЯ. РАЗМЕРАМИ С КОЗЛЕНКА, С РОГОМ ВО ЛБУ. — Дальше идет текст, написанный карандашом: — Нет, я не могу его описать, не умею! Это все равно что разъять поэзию, в лучшем случае выйдет мертвенно и плоско, в худшем — лживо... В сети слов его не завлечешь, он приходит и уходит, ступая легкими неслышными шагами, следы его истаивают, собаки не лают на него, но становятся странными, и я думаю, они чувствуют его приближение, хотя и не могут увидеть...» — дальше еще кое-что, однако исчеркано-перечеркано, не разобрать.

Летний вечер на дворе. Сижу за письменным столом и привожу в порядок бумаги. Белый листок, карандашная запись:

«1270 — ТЕ ГОДЫ. МАРШАЛ РИЖСКОГО РЫЦАРСТВА КАЦЕНЕЛЛЕНБОГЕН, ЕГО РАЗБИВАЕТ ЗЕМГАЛЬСКИЙ ВОЖДЬ НАМЕЙСИС, КОТОРЫЙ ОДАРИЛ ЛИТОВСКОГО ВОЕВОДУ ТРАЙДЕНАСА. — Дальше, в скобках: — РЕЙКА, РЕЙХ — КОРОЛЬ(?). Еще — БЕРСЕКЕРЫ — СВИРЕПЫЕ БУЙНЫЕ ВИКИНГИ — см. АМОК МУХОМОРЫ!» При чем тут мухоморы?! И в какую стопку я должна положить этот листик? По лестнице топает Лаума. Ладно, пускай, скоро ей на боковую, тут-то и начнется. — Почитай мне о цыганенке-месяце! — Но мы это уже читали! — А ты почитай еще! — и так каждый вечер!

— Мама, у нас есть еще овсяное печенье?!

— Есть, сейчас дам... только больше никуда не ходи, пора спать, и...

— Я только отнесу вот это ЕДИНОРОГУ! Знаешь, мама, он кушает с ладони! — и вниз по лестнице.

Единогор... вечно разные фантазии на уме, и откуда? И откуда Лауме вообще известно про единорогов?!

Подхожу к окну. Там, до самого горизонта, клубится в тумане озерная гладь. Фигурка Лаумы едва различима во мгле, да, она кого-то кормит. Нет — в самом деле?! Нет, этого не может быть! Ну, конечно, косуля или приبلудная коза! Ведь единороги тут не живут... И про них Лаума конечно же вычитала в какой-нибудь детской книжке.

Снова — бегом по лестнице. — Ты знаешь, мама, они, ну эти ЕДИНОРОГИ, очень несмелые.

— Ну разумеется несмелые... — отвечаю я. Конечно, они несмелые, несмелые они...

Только... только нигде Лаума не могла прочесть про ЕДИНОРОГОВ, ей всего два с половиной года, и читать она еще не умеет, не умеет, не умеет...



## РИФМОВАННЫЙ ИКАР

Перевел Владимир МИКУШЕВИЧ

Грузинский поэт Рене Каландиа до того «облаатышился», что стоит ему произнести в Риге несколько слов по-латышски, как даже тончайшие инженеры человеческих душ — швейцары — сразу же опознают в нем обыкновенного латыша со всеми вытекающими отсюда последствиями... Однако не будем здесь доискиваться, буруны какого моря — Черного или Балтийского — напоминает неистовая борода поэта. Мы должны быть благодарны (хотя именно этим чувством мы как раз не особенно отмечены), что в Грузии с ее древнейшей литературой появился человек, который, не побуждаемый никакими директивными органами или просто приятельскими связями, по собственной воле обратился к языку и культуре столь далекого, столь северного народа. Следствие этой частной инициативы — книга переводов «Латвийские советские поэты» (Тбилиси, 1986). Кроме названной антологии — еще переводы Александра Чака и других латышских поэтов. А круг переводческих интересов Рене Каландиа очень широк — на его счету переводы с абхазского, эстонского, русского, украинского, польского, болгарского, итальянского, французского... В свою очередь, стихи Рене печатались в переводах на русском, украинском, белорусском, литовском, латышском, эстонском, армянском и абхазском языках. Ибо Рене Каландиа (родился он в 1944 г.) не только плодovitый, но и прекрасный поэт (увы, эти свойства совпадают отнюдь не часто). Переберем названия его книг: «Цветок памяти» (1972), «Концерт» (1975), «Выставка» (1978), «Заккрытие сезона» (1981), «Четыре луча четырех струн» (1984), «Квадратное облако» (1984), «Нервная мостовая» (1987).

Ассоциативный сплав горнего и дольнего, многовековой культуры и сиюминутного быта, поэтический темперамент, сочетающийся с суровой бескомпромиссностью подлинного художника (во времена гибких, как камыш, литературских позвоночников) — вот тавро, по которому распознается Пегас нашего друга, грузинского поэта Рене Каландиа.

Янис РОКПЕЛНИС

### ЗОВ ЗЕМЛИ

Внжу из окна только стену, неподвижную,  
Как моя душа в продолженье дня;  
«Мифологня» древних греков не дочитана  
И на полке ждет все еще меня.

Если бы хоть мой сон раскрасил тусклый этот год;  
Всё такие же будни впереди.  
Морем хвалится телевизор, теплым климатом...  
«Ясно в Грузии», — радио твердит.

Не любил я бурь, но страшнее дни туманные,  
Когда желтые часы умерли  
И молчание — только желтый стон сомнамбулы,  
Так что мне в глаза свистят сумерки.

Благодатная! Свет мгновенный и меня настиг;  
В чужом городе среди ненастной мглы  
Тень моя, нет, жизнь грустью грусти всё скитается,  
Но не хочется на «Даланди»\* плыть.

В душу глянуло мне посланье, как воробушек —  
Путешественник; солнце хмурится;  
А строка моя — сигарета, и на Севере  
Под косым дождем не закурится.

Пусть ирония — плод запретный; все еще душа  
Неподвижная, как стена, слепа,  
И в глазах моих отразилась, беспросветная;  
Вот и этот день без тебя пропал.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПИСЬМО

Помнишь? Старая Рига, обветренный бор барокко,  
Книга черепичная в стиле ретро,  
Прошлое... Ты подумай: зачем же с прошлым бороться?  
Позвони! Приедет моя карета.

Помнишь? Старая Рига, купол и петел Святого  
Петра... Фуга Баха... Как ваше имя?  
Прошлое... Неужели фото еще не готово?  
Адрес прежний, так что почта не минет.

Помнишь? Старая Рига, Даугава, улица Чака;  
Синяя кариатида гадала  
Нам о прошлом... Ты не забудь: за тобою собака.  
Сеттер. Щенок. Не хочу волкодава.

Помнишь? Старая Рига, вечер и девочка в баре;  
Сентиментальное «верьте — не верьте»,  
Прошлое... Ты позабыла? Лишь старый Гете в ударе.  
Перечти роман под названием «Вертер».

Помнишь? Старая Рига, не бар и не бор барокко,  
Прошлое!  
Позвони... Зачем же с прошлым бороться?

## РАСПУТЬЕ

Корень дерева Иуды  
Скорь кровавую растит;  
Стоны скрипки узкогрудой:  
Нет, не слезы, сталактит

---

\* Имеется в виду стихотворение Г. Табидзе «Корабль Даланди»

В клетку свесился грудную,  
И душа засорена,  
Чтобы землю ты родную  
Проклял, грош, мол, ей цена,  
Чтобы ты сизифов камень  
Клал под голову себе,  
И, пока во мрак не канешь,  
Замкнут в собственной судьбе,  
Остающийся в капкане  
Слов, бездомный, духом нищ,  
Заклеймен, пространством ранен,  
Звуком-кубком ты звенишь,  
Нет, не лирой — лире брэнной  
Предпочел бы трубный гул,  
Но напрасно: нет вселенной,  
Ты вселенную спугнул.  
Что же дальше? Нет ответа!  
Лишь взамен былых даров  
Призрак облачного цвета,  
Схватка с воинством ветров;  
Веет здесь, там тоже веет;  
Разве ты не взаперти?  
Двери здесь, там тоже двери;  
Не остаться, не уйти . . .

#### TESTARDAGGINE\*

Ты — мотылек сновиденья,  
Одинокий в твоём огне,  
Но это же заблужденье,  
Ибо ты приемыш вдвойне;  
Бабка твоя неродная,  
Эпоха взяла тебя в плен,  
Безжалостно распиная,  
Как был распят грешный Верлен,  
Которого окрестили  
Безумцем, даруя венки  
Терновый в новейшем стиле,  
Но бог звуков мир превозмог,  
Воздвигнув образ-колонну  
В гробу-погребке до небес,  
Ладонь превратил в икону  
Светящуюся и воскрес,  
Поэзия, сын твой блудный,  
Но быть он желает — прости! —  
Единственным, безрассудный,  
Иначе его не спасти.

#### ЛУЧ ЖИЗНИ БЕЗ НАЗВАНИЯ

В этом веке лежащем, лижущем  
Трупы, твой кому понадобится  
Стих? Твой призрак тебе ближе еще,  
Чем ты сам, чьи губы — гаубица  
Света, в долг тебе даваемого  
Тенью, телом, теремом тяжести  
С музыкой души . . . Мир — окраина,

---

\* Упрямяство (итал.) (Здесь и далее прим. авт.)

Где земля со звездой не вяжется,  
Где лежишь ты, но крылья белые —  
Лишь поэзия в этом крошечке,  
Где одна лишь мысль знает целое,  
Опясана руслом прошлого.

## РЕКВИЕМ

Лес и Латвия. «Ушел снег», — написал Чантладзе\*.  
Темноглазая боль былого; нет, не покинет  
Сердца моего эта пуля; как не сослаться  
Мне на следы слез, беспощадных в юности синей.  
А что же потом? Пыль Вселенной с вопросом глуше,  
И червь земляной чертежами бережно вторит  
Траектории бывших крыльев, а меня душат  
Безысходностью, но печальный день истории  
Мой! Мой! Тоже мой! Мне тигель, а вам аквариум;  
Рыбок золотых берегите, чтобы месили  
Тесто ваших грез; а мне колдовское варево,  
Изначальное слово и правота мессии.  
«Ушел снег», лес печальный,  
Травы зашелестели,  
А роса — храм хрустальный,  
Суета в нашем теле.  
Чем утетишь нас, боже?  
Лишь фиалка синеет.  
Грех мы сеяли тоже,  
Но цветом вместе с нею.

## ЖЕРТВА

Нежная, снежная дева в образе города  
Грустно лежала под сумеречными елями,  
И окликала, как прежде, свежо и молодо  
Ночь меня там, где, брошенная метелями,

Умирала любовь-снежинка, но как в хаосе  
Страшно перешагнуть через чудо телесное,  
Когда белый стон заставляет меня каяться  
Твоему сиянью, царство мое небесное!

## РИФМОВАННЫЙ ИКАР

Взмыть бы, взмыть бы мне, чтобы птицы рядом реяли  
В красках сумрачных близкой ночи, пока в ужасе  
Истомленная, в безысходном пепле времени  
Земля кружится,

А свидетель-день видит смерти всех родившихся,  
Слышит синий крик недоноска, фугу выстроив,  
Голубой рефрен по ошибке возгордившихся  
Ради выстрела,

Мне сулящего ваши гнезда... Нет, безмолвную  
Даль бы выбрал я, а не тело, тень с мытарствами,  
Лишь бы видеть вас, но в полете грудь проломлена:  
Благодарствуйте!

\* Шота Чантладзе — талантливый грузинский поэт, безвременно погибший в 1968 г. «Ушел снег» — посмертная книга поэта.

## ГАЛАКТИОНУ\*

О Всеведущий, опасаясь ваших я страниц;  
К Богу ваш полет синий длится и не кончится;  
Опоздал я; рок мне могилу роет, но хранит  
И меня в пути вместо крыльев одиночество;  
За какой же грех отравили мне земные дни?  
Почему меня гонят? Или мне повеситься?  
Почему в тени вашей выси обречен я гнить?  
Вбейте гвозди в мозг, чтобы пелось мне

ровеснику

Распятого; мы в бурях-буднях мира людного  
Жили без пальто, чтобы верить, чтобы маяться  
И принять клеймо роковое сына блудного,  
Когда я купить пестрой шали не мог матери.  
Опоздал я; вы мне простите мою исповедь,  
Вы же бог стиха безупречный, но поверьте мне:  
Я без вас найду мою пристань, где неистовой  
Возрождение: там Искусство, там Бессмертие!

---

\* Галактион — Г. Табидзе. В Грузии великих поэтов, как правило, называют только по имени.

## ЧУВСТВО СТАИ

Вот он, невысокого роста, с бледно-желтым, узким, замкнутым и каким-то скорбным лицом, один против большого зала, наполненного людьми.

Он — один.

Люди пришли сюда, чтобы услышать его раскаяние, выкрикнуть ему свою хулу. Что и как бы он ни сказал, все будет не то, он осужден заранее, на нем — печать изгоя. Он — отверженный.

«В нужных местах зал аплодировал, в нужных — возмущался. Все двигалось слаженно. Верноподданные старались показать себя, либералы старались успокоить начальство, пусть видят, что организация, «здоровая», «правильно расценивает». Чтобы не усугублять. Будет хорошо, если собрание «даст отпор». Важно для начальства, которое присутствовало. В свою очередь, начальству это было важно для Москвы, для их начальства. Еще недавно этот незримый имел имя, существовал, ныне было непонятно, кто он, но ритуал неукоснительно соблюдался».

Нет, это описание не из романа или повести. На сцене, ставшей лобным местом, не вымышленный литературный персонаж. На ней — Михаил Зощенко, крупнейший советский писатель. В зале — литераторы Ленинграда, собравшиеся, чтобы «дать отпор» и заклеить.

Эту позорную историю рассказывает в своих воспоминаниях Даниил Гранин, которому тот день саднящим

рубцом навсегда врезался в память. Рассказывает подробно, деталь за деталью воспроизводя то собрание-судилище, одно из многих собраний такого рода, ставших практикой нашей общественной жизни на десятилетия. Воссоздавая, как точно замечено, ритуал.

«После Друзина выступали мало известные мне писатели и осуждали Зощенко. Говорили про него: «пособник наших врагов», «подобно буржуазным писакам», «холуйское поведение на потребу...», «потерял достоинство советского человека». Я знал, что Зощенко сидит в зале. Где-то в первых рядах. Я не представлял, как можно такое в глаза, прилюдно говорить человеку. Если бы еще в запале, а то произносили это спокойно, по бумажке, с какой-то холодной жестокостью».

То злосчастное писательское собрание — в сущности, модель многих судилищ такого рода. Оно — слепок с печально известных процессов 30-х годов, только разве в уменьшенном масштабе и с меньшим политическим звоном.

Нам еще предстоит узнать, как они проходили, эти процессы, эти бессовестные, демонические спектакли, когда на измышленных, грубо подтасованных, вопиющих своей фантастичностью фактах разжигался инквизиторский костер прокурорского обличительного красноречия.

Что ни говори, а это был мощный фундамент для того общественного

механизма унижения и нравственного уничтожения человека, каким стали многие собрания того времени. Собрания, на которых, по сути, профанировался и грубо извращался самый смысл понятия «общественность». Фальшивое, неискреннее единодушие, директивное единомыслие. Или — безмыслие, страхующее от возможных угрызений совести.

Не случайно эти коллективные судилища пробуждали темное и древнее, таящееся в глубинах человеческой природы, — чувство стая, охотничий азарт, а то и сладострастное любопытство к чужому унижению и страданию. «Ату его!..»

На том шабаше Зоценко оставался нормальным человеком, не утратившим ни самоуважения, ни чувства собственного достоинства. Он не калялся, не бил себя в грудь и не посыпал голову пеплом. Он верил в людей и потому пытался найти понимание у собравшихся, пытался объяснить свое поведение на встрече с английскими студентами, когда он высказал свое несогласие с критикой А. А. Жданова в его адрес. Не согласился с тем, что его называли «подонком» и «несоветским» писателем.

«Нет, это не ответ! — тотчас, торжествуя, настигая его, крикнул кто-то и даже привстал, чтобы его заметили из президиума. Я видел лишь его бритый розово-жирный затылок. Загудели вразброд, громче всех те, кто решил, что Зоценко хочет увильнуть и они поймали его на этом. Им даже не нужно было его покаяние, их охватил азарт погони: поймать, ухватить на том, что хочет вернуться, уличить, разоблачить! Охотничий, беспощадный дух толпы, настигающей, окружающей, торжествовал в зале».

Но для кого же все-таки был устроен этот жестокий спектакль? Кто был тот незримый, чье имя не называется Д. Гранин, но которое и без того известно.

Сталин. Его уже не было, но мрачная тень по-прежнему нависала над страной, над людскими душами, смятыми давним, прочно вошедшим в кровь и плоть страхом, пропитавшим воздух, которым дышали, так, что стало почти незаметно. Главное, чтобы не выделяться, чтобы как все, чтобы исполнять в точности то, что

ведлят, что хочет начальство, может быть даже чуть ретивее, чуть рьянее. Угадывать его желания, его тайные помыслы и — соответствовать, соответствовать... .

«Это было, как смена времен года, как годовые кольца на срезе дерева, как циклы шизофрении, и к этому начинали привыкать, — пишет в романе «Московская улица» Борис Ямпольский. — Жизнь проходила от собрания к собранию, от кампании к кампании, и каждая последующая была тотальнее, всеобъемлющее, беспощаднее и нелепее, чем все предыдущее, вместе взятые. И все время нагнетали атмосферу виновности, которую ничем и никогда не искупить».

Имя названо: Сталин!

Но неужели же и в самом деле он, уже отправившийся в миры иные, продолжал дергать за ниточки, заставляя людей делать и говорить не то, что они думали?

Неужели же и тогда, когда отлучали и клеймили другого крупнейшего писателя — Бориса Пастернака, тень Хозяина снова диктовала свою волю? А ведь это происходило после двадцатого съезда партии, на котором был разоблачен культ личности.

Так что же? Неужто опять он? Его зловещая тень?

Да, если понимать под «тенью» все то античеловеческое, что насаждалось в стране на протяжении десятилетий, тот механизм насилия, который не только уничтожал безвинных и достойных людей, но и подавлял всякую живую и свободную мысль, всякую незаурядность и самобытность, искажал человеческие отношения, приучал людей к страху и подозрительности, к бездумной исполнительности и нравственной апатии.

Эта тень пустила корни в душах людей.

Наверно, кому-то на тех собраниях и впрямь казалось, что так надо, так правильно. Что патриотизм — в подобном коллективном осуждении и проработке, в такой натужной демонстрации благонамеренности — «ату его!». И рвали на себе рубашку. Или, как показал Д. Гранин, напротив, делали это спокойно, расчетливо и холодно. По бумажке. Отмечались.

Отказаться? Да разве можно?

Откажешься — значит, тайно сочувствуешь. Значит, себе на уме. Значит, не разделяешь генеральной линии. Значит, аполитичен. Так что нужно еще присмотреться к тебе: какой в тебе душок бродит? И вообще — а наш ли ты человек? Советский ли?..

Сколько тяжелой угрозы в этом вопросе — а наш ли ты? Вопросе, который вырос из суровых революционных лет, из непримиримых классовых схваток. Либо—либо! Кто ко-го...

И потом, в обстановке намеренно нагнетаемой Сталиным напряженности (враги кругом, сплошные заговоры!) этот вопрос не только не был снят, но получил невиданную силу. За ним почти автоматически следовало унижение, отлучение, лагерь, гибель.

Не наш — значит, враг. Значит, потенциальный вредитель, диверсант, агент если не японской разведки, то мирового империализма в целом. К человеку ничего не стоило прилепить политический ярлык, «сигнаторку», если воспользоваться точным словом из романа Ю. Трифонова «Старик», — и этого было вполне достаточно, чтобы в его судьбе была поставлена точка.

Но чьими руками это нередко делалось?

В том и беда, что вовлекались товарищи по работе, сотрудники, знакомые. Чья-то воля, чье-то распоряжение или даже мнение становилось коллективной волей. Коллектив из подлинной человеческой общности, основанной на доверии и взаимопомощи, становился инструментом для шельмования, превращался в безропотную, парализованную страхом и вместе с тем агрессивную массу, близкую и бессознательную.

На основе страха и подозрительности совершалась чудовищная и трагическая для нашего общества подмена: коллектива — множеством, личности — винтиком, единицей. А ведь новое социалистическое общество задумывалось как торжество коллективизма, проникнутого духом любви, равенства и братства, помогающего человеку раскрыться в его лучших качествах, стать действительно личностью.

Так должно было быть, но было ли?

Помните, как Варю Иванову в «Детях Арбата» Анатолия Рыбакова принимают в профсоюз — и как она была поражена тем, что «хорошо знакомые люди, с которыми у нее установились самые дружеские отношения, вдруг сделали подозрительными, готовыми уличить ее во лжи, точно выполняют бог весть какое ответственное государственное дело».

Уже и анкету ее не раз проверили, и знают ее, Варю, достаточно, а все — мало. Человек все равно остается под подозрением, любой, кто бы он ни был, независимо от происхождения и положения в обществе. Добро, коли с этим все в порядке, хотя, известно, тоже ни от чего не гарантировало, а уж коли что не так, как у бедной дочери раскулаченного в повести Сергея Антонова «Васька», то тогда просто беда.

Все оказывались действительно равны — но не в любви, а в подозрительности друг к другу. В общем и тотальном недоверии.

Как известно, первородный грех человека — съеденное им яблоко с древа познания. На долгие века христианской истории легла на его плечи эта вина. Но куда проще оказалось заставить человека почувствовать себя безвинно виноватым, окружив его всеобщей подозрительностью, поставив под сомнение и объявив политически опасными любые свободные мысль и слово.

И как всегда бывает, находились умельцы ловить рыбку в мутной воде, кто не только получал удовлетворение, превращая даже коммунальные свары в наклеивание политических ярлыков и унижая, запугивая других, но и извлекал вполне реальные и весьма осязаемые дивиденды.

И вот уже поднимаются на трибуну один за другим добровольцы и с праведным гневом клеймят, обличают, поносят, требуют самых решительных и строгих мер.

«Товарищи! — кричала какая-то пожилая женщина с красными волосами. — Вообразите, что было бы, если бы победили не мы, а фашисты! А этого-то, закоренелого... Вейсманиста-морганиста... Поставщика аргументов для их расистских бредней...»

Идет собрание в некоем академическом институте — его описывает

в романе «Белые одежды» Владимир Дудинцев, чей взгляд не случайно подолгу задерживается на так называемых массовых сценах. Нападают на ученых-генетиков, честных, порядочных людей и подлинных подвижников науки. Звучит, как чуть позже резюмирует ректор, «голос научной общественности», с которым «нельзя не считаться...»

И тут же аспирантка одного из этих ученых, с которой накануне проведена подготовительная и разъяснительная работа и которой недвусмысленно обещана «зеленая улица» для диссертации, отрекается публично от своего учителя, разоблачает его «двойную бухгалтерию», то есть фактически доносит на него.

Вполне допускаю и считаю оправданным возражение, что и на таких вот собраниях люди нередко выступали не под чьим-то нажимом, не кому-то в угоду, а исключительно из твердой убежденности, с неколебимой уверенностью в своей и общей правоте, не ожидая для себя ничего. Выступали абсолютно бескорыстно.

Что ж, бывало и так, но только, простите, бескорыстие гнева и обличения при невозможности защиты и выражения иного мнения, при агрессивной монополии на истину — это уже совсем не то бескорыстие. Бескорыстие гонения или уничтожения — и звучит-то страшно! И подло по сути!

На этот счет у дудинцевского мудрого Федора Дежкина, героя романа, есть такое рассуждение. «Главная причина, — считает он, — необоснованная уверенность в стопроцентной правоте. Почему старуха на костер под ноги Яну Гусу принесла вязанку хворосту? Потому что была уверена без достаточного основания: я права, я чиста, а он дружит с сатаной».

Чем обернулись, какими жертвами для нашей страны, для народа страны — сегодня мы знаем.

Но чем обернулась для нашей общественности и личной нравственности, для духовного состояния общества сама связь правоты и костра, убежденности и гонительства, уверенности и жестокости, веры и нетерпимости? Как отозвалось в нашей душе само смещение, извращение важнейших понятий, деформация реаль-

ных человеческих ценностей? Поняли ли мы это? Осознали ли?

Но вот мы присутствуем на собрании в уже гораздо более близком к нам времени. Комсомольцы-десятиклассники в повести молодого латышского прозаика Андриса Пуриньша «Не спрашивайте меня ни о чем» обсуждают поведение трех своих товарищей, подравшихся в пивном баре.

Поступок, что ни говори, не слишком благовидный. Но как истово, как охотно ребята вдруг принимают-ся прорабатывать своих же одноклассников! Как рьяно они используют предоставившуюся им возможность обличать, клеймить, выносить приговор! Они словно одурманены чувством своей силы и власти.

«Другие смешивали нас с грязью. Дескать, мы отпетые хулиганы, наш поступок несовместим с пребыванием в комсомоле, нас необходимо так проучить, чтобы на всю жизнь запомнилось, чтобы сделать из нас людей(!)».

Герой А. Пуриньша чувствует, что собрание начинает принимать облик какого-то судилища, получает нездоровый характер. Кто-то рвется свести счеты, кто-то просто впадает в охотничий азарт, кто-то еще что-то... Но он не задумывается, откуда идет подобный раж, а сделать это просто необходимо.

Да, связь времен не прервалась, и к этим школьникам тянутся нити вроде бы канувших в прошлое жестоких проработок и персональных дел. Этим прошлым, которое не уходит так быстро и еще долго бывает растворено в воздухе, а тем более в затхлом воздухе застоя, задеты и их юные души.

Но только ли в прошлом дело? Может быть, здесь еще раз проткрылся «темный омут» (В. Дудинцев) все той же коллективной «бессознательности», проступило, как жирное пятно на чистом листе бумаги, чувство стай, почуявшей чужую слабость и беззащитность? То страшное, распускающее человеческую душу, как слабую ткань («ату его!»).

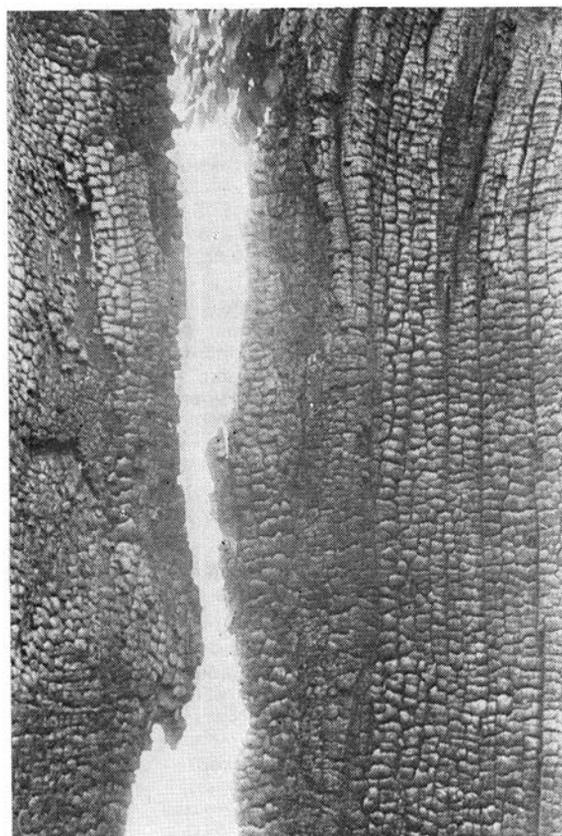
Так или иначе, но сегодня мы не можем и не имеем права не помнить, что и как было, не видеть, что есть. И если мы хотим вернуть коллективности ее истинный социалистический и демократический смысл,

сделать ее подлинной формой и сущностью нашей общественности, нужно по капле выдавливать из нее, а значит, и из себя эту самую бессознательность. Выдавливать страх, безропотную покорность, стадный инстинкт и всеприемлющее равнодушие.

В самом деле, если положить руку на сердце, кому нужны такие собрания и обсуждения, где все запланировано голосуют единогласно, поднимая руки «одновременно и вертикально, обнаружив хорошую привычку», подобно членам коммуны «Дружба бедняка» в романе Андрея Платонова «Чевенгур»? Где единодушие не столько достигнуто, — пусть

с трудом, пусть в результате жарких споров, несогласий, столкновений мнений, — сколько заранее организовано.

Но главное, наверно, чтобы люди видели друг в друге именно человека, а не врага народа или агента мирового империализма. Чтобы во главе угла всегда было уважение к личности, ее достоинству. Тогда и коллектив будет не серой безликой массой, а сообществом свободных и доброжелательных людей, не набором послушных клавиш, а содружеством духовно суверенных и нравственно ответственных личностей.



Гунтис Эниньш. \* \* \*

## Официальный запрос

### ДЕНЬ РЕАБИЛИТАЦИИ

Беседа корреспондента И. ПОЛОЦКА с Я. ШКАПАРСОМ, членом комиссии Союза писателей ЛССР по изучению репрессий и жертв времен культа личности

**Я. Ш.** Я сразу же хочу сказать, что вряд ли беседа наша выстроится по стройному плану: посылка — вывод — осмысление; она должна затронуть столько больных тем, такое количество информации, что я заранее оставляю за собой право на свободный, ассоциативный ход мысли и уверен, что читатели «Даугавы» поймут, зачем и как была создана наша комиссия Союза писателей и какие цели она ставит перед собой.

**И. П.** Может быть, размеренное течение беседы о жертвах, страданиях, времени возвращения справедливости здесь и не к месту. Но все же хочется, так сказать, начать «от печки»: как была создана ваша комиссия, что послужило толчком к ее появлению?

**Я. Ш.** По большому счету — процессы, происходящие в стране. Конкретно — близилось 25 марта, дата, которая могла принести с собой экстремистские проявления, и надо было противопоставить им альтернативное решение. И тут стоит отдать должное руководству нашего Союза писателей, из предложений которого — о них я скажу чуть ниже — и родилась наша комиссия (по имеющимся у меня данным, едва ли не первое образование такого рода).

Творческие союзы республики предложили устроить торжественное

шествие к мемориалу Братского кладбища, чтобы отдать дань памяти жертвам несправедливых репрессий. По его аллеям прошло, как говорят, не меньше двадцати тысяч человек. Люди прошли в молчании и строгом скорбном порядке. Фактически это и было началом работы нашей комиссии. Мы старались и смогли доказать, что учимся и умеем жить в условиях демократии, несмотря на то, что в нашей стране катастрофически отсутствует культура такого рода инициатив. Прошедший в апреле митинг по вопросу о строительстве Рижского метро, который из центра города переместился в парк «Аркадия», прошедший, кстати, организованно и спокойно, — я бы сказал, с достоинством, — показал, что уроки демократии все глубже проникают в массы.

**И. П.** Чем должна заниматься ваша комиссия, какие задачи она ставит перед собой? И как, кстати, точно переводится ее название?

**Я. Ш.** Вот с названием непросто. В ее титуле есть латышское слово «апзинашана», для которого довольно трудно найти совершенно идентичный русский перевод — осмысление, инвентаризация? — всего того, что связано с деформациями и жертвами культа личности...

Было бы ошибкой считать, что комиссия обращена только в прошлое,

хотя, конечно, мы постараемся не забыть ни одного представителя интеллигенции Латвии, — и творческой, и технической, и революционной, — имя которого было насильственно вычеркнуто из жизни и памяти народа. Но не меньше внимания наша комиссия должна уделять и настоящему времени.

**И. П.** В каком смысле?

**Я. Ш.** В том, что сталинизм — это не только репрессии. Будь это так, достаточно было бы бросить все силы на раскопку архивов, публикацию изысканий и, перевернув последний листок в «фондах» и «делах», поставить точку: дело сделано, справедливость восстановлена. Но мы считаем, что сталинизм — это и социально-психологическое явление, и политическая структура, пустившая глубокие корни, которые, подобно пырею, одной прополкой не выкорчуете. Ведь и сегодня рядом с нами существует могущественный слой, который, хотя на словах и отрещивается от Сталина и иже с ним и умело оперирует терминологией перестройки, на самом деле питает иллюзии о возвращении старых порядков, бюрократической стагнации, когда им сладко елось и мягко спалось. И мы не исключаем того, что он может выйти со своей платформой, зловещим признаком которой явились статья Н. Андреевой и пристальное доброжелательное внимание, которое было оказано ей «сверху». Этим явлениям наша комиссия в меру своих сил и возможностей и должна поставить заслон в республике.

**И. П.** Несмотря на определенную спонтанность появления комиссии, родилась она все же не на пустом месте...

**Я. Ш.** Без сомнения. Латышская литература шестидесятых годов фактически была литературой перестройки. Я могу в качестве примера привести произведения Визмы Белшевицы, Ояrsa Вацietиса, Иманта Зиедониса, Гунара Приеде, Эвалда Вилкса. Это была социально активная литература, выдвигавшая иную, смелую концепцию личности, опровергавшую устоявшиеся в сталинские и застойные времена убеждения, сводящие роль человека к уровню марионетки, винтика. Эвалд Вилкс в одном из своих произведений прямо сказал,

что человек отвечает за все, что происходит в мире. Да, конечно, на том этапе разоблачительный пафос касался только раскрытия деспотической части диктатуры, и продлись «время оттепели» дальше, я уверен, латышская литература пошла бы и в глубь явления, но... оттепель сменилась долгими заморозками, реформы ушли в песок...

**И. П.** Идея комиссии носилась в воздухе... и вы же знаете, что достаточно одного теплого дня, чтобы расцвели набухшие почки. Но надо сказать, что название ее не совсем точно отражает круг ее забот. Разве все погибшие — жертвы только культа, культа одного человека? Нет, они жертвы явления, которое еще предстоит исследовать...

**Я. Ш.** Почему мы решили отмечать 25 марта как день памяти жертв культа — прибегаем пока к этому выражению. Потому что в этот день в 1949 году была проведена самая крупная акция депортации: за пределы республики было вывезено 43 тысячи человек. А ведь были еще депортации июня 1941 года — подумайте только, всего за неделю до войны! И как ни горько признавать, сталинские сатрапы меньше чем за два года сделали то, что не удалось сделать немцам за 700 лет: переориентировать на Германию симпатии определенной части латышей, испокон веков тянувшихся на восток, к России. Не будь этих жестоких бесчеловечных акций, я не сомневаюсь, куда меньше латышей сотрудничало бы с немцами, не было бы массовой эмиграции за границу в 1944 году (по приблизительным подсчетам, Латвию покинули сотни тысяч латышей, некоторые из которых сейчас, посещая родину, с горечью и с печалью вспоминают эти дни, рассказывая о владевшем ими страхе — и, надо признать, небезосновательном), не было бы такой жестокости националистического подполья после войны.

Перед нами стоит задача вернуть к жизни, ввести в обиход десятки и сотни несправедливо забытых имен, и объем этой задачи даже трудно себе представить. Мы, например, достаточно хорошо знаем о судьбе Белковского, критика из Латгалии, который трижды сидел при буржуазном режиме, а потом в 1941 году

был осужден и расстрелян, но судьба такого, скажем, крупного латышского литератора и революционера, как Линард Лайцен, до сих пор в неизвестности. Предстоит ответить на все вопросы.

Сегодняшний поток разоблачений прошлого, да простят меня коллеги-публицисты, делающие, без сомнения, благородное дело, порой отдает детективом. Но не в сенсационности разоблачений дело. А в том, чтобы мы истребляли страх, глубоко сидящий в нас самих. И тут вот еще какая проблема... Страх лишает сил, но когда приходит освобождение от него, он может ослепить «яростью раскрепощения», которая в свою очередь способна вызвать злобу и мстительность. Нам не нужны новые жертвы. Да, никто не должен уйти от ответственности — об этом сказано и устами Генерального секретаря ЦК КПСС. Но мы также не должны лишать человека, какие бы страшные преступления ни лежали на его совести, права на объективный суд и защиту.

**И. П.** Что имеется в активе комиссии, как она предполагает вести свою работу?

**Я. Ш.** Во-первых, надо уточнить, что мы — не директивный орган, что у нас нет, скажем, права «вето» или прочих судебно-юридических прав. Мы общественная организация, в задачу которой будет входить формирование общественного мнения. Уже сейчас к нам идут люди, несут дневники, воспоминания; идут со своими рассказами, которые мы стараемся записывать на магнитофонные пленки — таким образом у нас будет создан живой, непрерывно пополняющийся архив, которым может воспользоваться любой писатель, журналист, решивший взяться за эту тему; к нам идут люди по доброй воле, со своими страданиями, со своей неизбывной памятью.

**И. П.** Какой отрезок времени будет в поле зрения комиссии?

**Я. Ш.** Частично я уже ответил на этот вопрос, говоря, что мы изучаем явление. Но все же главным образом мы будем заниматься 1940—1953 годами, когда на долю и латышского и других народов страны выпали самые тяжкие испытания. Естественно, мы будем касаться и

судьбы латышей в Союзе в 30-е годы.

**И. П.** Какие у вас есть для этого технические возможности?

**Я. Ш.** Вот с этим сложнее. Работа требует углубленных изысканий в архивах самых разных ведомств, включая и те, которые раньше были вне досягаемости. Мы поставили этот вопрос в Совете Министров при встрече с аналогичной комиссией, возглавляемой заместителем Председателя Совмина ЛССР Л. Л. Барткевичем, и он обещал нам всемерное содействие.

**И. П.** Кстати, о комиссии Совета Министров. Не дублируете ли вы работу друг друга?

**Я. Ш.** Нет, хотя она в определенной мере создана по нашей инициативе, после нашего предложения. Функции совминовской комиссии несколько уже, чем наши. Она тоже будет заниматься судьбами жертв культуры личности, но, по мнению членов комиссии, возбуждать ходатайства о реабилитации, о возмещении ущерба она будет только в случае прямого обращения к ней отдельных граждан. Я позволю себе оспорить такой подход. Неужели кто-то должен самолично обращаться с просьбой — реабилитируйте меня. Ведь надо учитывать, что люди эти в большинстве своем старые, больные, немощные, часто не знающие, куда обращаться, как оформлять бумаги, прошения и обращения. А у общества перед ними — моральный долг, который следует возмещать без особых ходатайств.

**И. П.** Идет речь и о материальном возмещении потерь тех, кто был репрессирован, выслан, потерял все имущество. Как будет проводиться эта работа?

**Я. Ш.** Это очень сложный вопрос. Очень. Дело в том, что в 1939 году в Латвии была произведена перепись крестьянских хозяйств. В дальнейшем при определении кулацкого слоя руководствовались данными 39-го года. В 1947 году они были обложены огромными налогами, которых подавляющее большинство выплатить не могло. Последовали репрессии. Раскулачивание проводилось в 1949 году, но... по данным 1939 года, когда от многих и многих хозяйств ничего не осталось. Однако и эти остатки распродавались с торгов

по актам, а немалая часть денег шла в погашение налогов. Предполагается, что если будут обнаружены те самые акты и найдутся хозяева распроданного имущества, они получат компенсацию. Как это будет оформляться, в каких размерах и как будут выплачиваться деньги — обо всем этом пока сказать я не могу — вопрос, как говорится, находится еще на рассмотрении.

**И. П.** Ян Янович, общее понятие «жертвы культа личности» включает в себя самых разных людей, среди которых были и явные, открытые враги Советской власти, выступавшие с оружием в руках, воевавшие с ней. Они тоже были репрессированы, но они — не безвинные жертвы. Как быть с ними?

**Я. Ш.** Естественно, мы далеки от христианского всепрощения. К каждому, кто пострадал во времена культа, надо подходить дифференцированно — но отнюдь не ради осторожности, а во имя справедливости. Речь о другом. Вина Сталина в том, что всех и вся стригли под одну гребенку — от айсаргов до интеллигенции, которая приветствовала приход Советской власти в Латвию и которая была цветом латышского народа. Все они — и правые и виноватые — стали жертвой **вне-судебных** расправ, и сегодня, возвращаясь к их судьбам, мы должны, как правильно сказал председатель нашей комиссии академик Ян Павлович Страдынь, исходить из принципов гуманизма. С этой точки зрения всякий произвол, всякая вне-судебная расправа, что бы ни лежало в ее основе, должны быть осуждены решительно и бесповоротно.

**И. П.** Ожидаете ли вы сопротивления своей работе, какой и с чьей стороны?

**Я. Ш.** Я думаю, что не считаться с такой возможностью нельзя. Но с действительным, активным сопротивлением, которое будет тормозить работу обеих комиссий (кроме нашей при Союзе писателей существует еще одна комиссия, в которую входят Чаклайс, Берсонс и Маулиньш и которая будет заниматься только реабилитацией работников культуры, писателей), — с таким сопротивлением мы вряд ли столкнемся.

**И. П.** Психология сталинизма живуча и действенна. Сколько времени,

по вашему мнению, понадобится, чтобы полностью изжить ее?

**Я. Ш.** Мы неплохо знаем психологию личности, изучаем ее, но куда хуже знакомы с таким предметом, как психология общности, социальная психология, которая обладает огромнейшей силой инерции. У нас огромнейший бюрократический аппарат — 18 миллионов! Преобладают командно-приказные методы. Я уже не говорю о социальном окружении этих сил. Нельзя не задуматься и о психологии каждого из нас. Ведь все мое поколение десятилетиями привыкло согласовывать «свои дела с верхами», не обращая внимания на «низы», особенно на интеллигенцию. Психология — крепостническая, но она определяла собой прошлое и глубоко пустила корни в настоящее, когда мы чувствуем и активность интеллектуальной части общества, и ее слабость и неустойчивость. Нас пугают тем, что если пошатнется такой порядок — рухнет социализм: ведь исчезнет командный приказной стиль, а если некому будет получать указания (и соответственно — отдавать), то наступит хаос, анархия; не случайно еще недавно на тех, кто пропагандировал такие взгляды, быстро навешивался ярлык антисоветчика, со всеми вытекающими последствиями.

Было бы непростительной маниловщиной считать, что такая психология — а культивирование и возвращение ее один из самых страшных грехов сталинизма — исчезнет сама, при жизни одного поколения, пусть даже такие комиссии, как наша, будут чуть ли не при каждом ЖЭРе. И да не покажусь я пессимистом, но для того, чтобы исчез концентрат озлобления, накопившийся в нашем обществе, чтобы оно прониклось подлинно высоким гуманизмом, поднявшись к высотам человечности, нужно не одно поколение.

**И. П.** Вы определили временные рамки работы вашей комиссии как 1940—1953 годы. А период после марта 1953-го?

**Я. Ш.** Комиссия не собирается отворачиваться от процессов, которые проходили и на жизни нашего поколения.

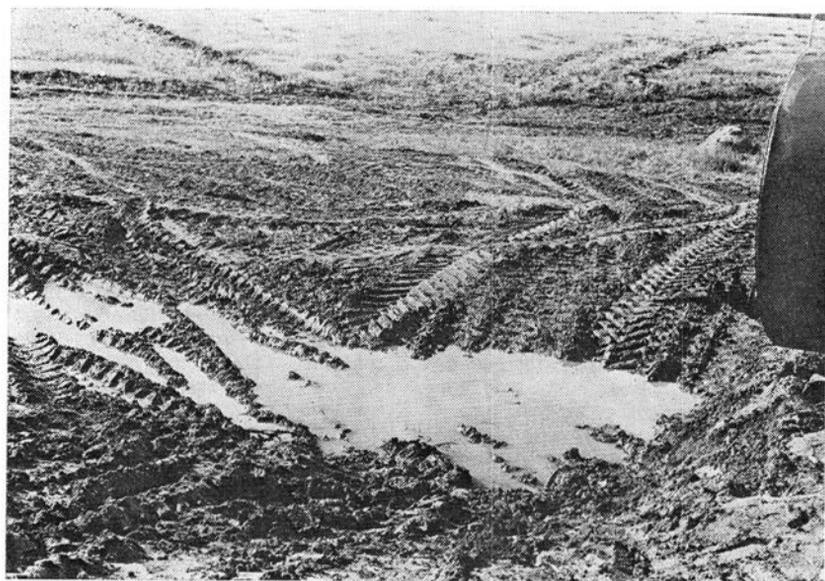
Кинорежиссер Ян Стрейч очень точно сказал, что когда-то мы обра-

щали свои взоры за информацией на Запад, а теперь — в Москву. Печально, но приходится признать: мы еще очень слабо и робко касаемся событий в нашей республике последних десятилетий, мы не исследуем роль и вклад каждого из партийных руководителей Латвии — Калнберзина, Пельше, Восса, хотя пришло время правдиво, компетентно, смело писать о событиях новейшей истории. В частности, о событиях 1959 года — как бы их ни оценивать, но и экономике республики, и национальным кадрам был нанесен серьезный урон, ибо уже тогда некоторые экономисты выдвигали очень смелые и совершенно реальные предложения...

**И. П.** Такое впечатление, что объем работы просто не имеет границ.

**Я. Ш.** Это... как бы поточнее выразиться, радостные трудности. Еще недавно в Союзе писателей дежурил только один член комиссии — Анда Лице. Но уже сегодня ей одной не справиться. Один за другим идут люди. И если даже порой мы не можем тут конкретно помочь им, они все равно уходят, благодаря нас за то, что их выслушали, дали возможность облегчить душу, снять груз старых бед и обид. И они видят, как идет процесс обновления. Так что, как бы ни было нам трудно, эта работа — наш святой долг.

**И. П.** Редакция «Даугавы» от всей души желает вам успехов в этой деятельности. И — спасибо за беседу.



Гунтис Эниньш. \* \* \*

## РУБИКОН

*«18 января 1988 года повсеместно разошлась весть о том, что главный врач Резекне и Резекненского района ЛССР, депутат райсовета, член КПСС Юрис Видиньш вступил в группу «Хельсинки-86». У тех, кто его знал, мороз прошел по коже — они не верили своим ушам, им казалось, что мир сошел с ума.*

*Как это могло произойти? Никому и в голову не могло прийти ничего подобного. Да, конечно, мы знали обо всем, что в последнее время происходило с ним, что невыносимый груз все давит и давит к земле трудолюбивого и жизнерадостного Юриса, что мало-помалу теряет он веру в справедливость. Перед собой он видел лишь китайскую стену, которую, как ни старайся, не одолеешь. И некуда дальше идти, некуда податься, потому что вокруг — сплошная пустыня, где и не дозовешься никого и руки тебе никто не протянет.*

*И тогда появилась идея: не просить надо, а кричать. Кричать так, чтобы голос твой и за горизонтом услышали.*

*И Юрис Видиньш крикнул.*

*Услышали. Теперь-то в самом деле услышали. Но пролитую воду обратно не соберешь. Юрис Видиньш уже не бок о бок с нами, он в другой среде, в другом обществе».*

### УГОЛ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Получив из Резекне письмо большой группы врачей, начальные строки которого я только что привела, редакция «Даугавы» предложила мне снова ехать в Резекне. Я благодарна журналу за доверие, тем более что мою статью о конфликте среди медиков Резекне в газете «Литература ун максла» («Кто в какую сторону хочет перестраиваться», 18 декабря 1987 года) Я. Британс в «Цине» 24 января с. г. назвал субъективной, что следует понимать так: превратной, искаженной. Примером объективности Я. Британс, по всей видимости, считает свою позицию: просмотрев буквально центнеры бумаг с бесчисленными фактами, касающимися ситуации в Резекне, он не осмелился упомянуть хотя бы один из них, возможно опасаясь вызвать огонь на

себя... А если главной задачей журналиста становится не стремление докопаться до корней конфликта или явления, а опасение вызвать огонь, то, простите, где тут объективное отношение к факту.

Первый шок, вызванный поступком Юриса Видиньша, прошел (когда 20 января я еще находилась в полном неведении, мне позвонили из «ЛМ» и успокаивающим тоном сказали: «Только не волнуйся... Видиньш сделал ужасную вещь...», у меня затряслись ноги: застрелился!). Наконец стихли звонки заботливых друзей и «доброжелателей», задававших один вопрос: «Тебе за это ничего не будет?»

Как видите, ничего.

И как мне были понятны опасения моих коллег — старых, настоящих, не случайных друзей! Ибо по еще недавним меркам самое малое, что

могло меня ждать, — партийный выговор: как ты проглядела?! А не замаралась ли сама?! Терминология вынесения выговоров и оргвыводов по идеологической линии была отшлифована десятилетиями и каждый мало-мальски опытный секретарь парт-организации волей-неволей ее освоил; в ней нередко не хватало фактов и здравого смысла, зато вдоволь было «бдительности» и перестраховки. Самые умные спешили скорее отреагировать, сами себя высесть.

Ловлю себя на том, что говорю об этом в прошедшем времени, словно и в самом деле вся эта безумная демагогия окончательно ушла в прошлое. Ушла ли? Окончательно ли?

И вот я снова еду в Резекне, хотя, возможно, меня снова оболгут, как после моей первой статьи сделала резекненская журналистка М. Низинская. Между прочим, ее письмо редактору «Литература ун максла» послужило своеобразным индикатором истины, ибо дало расширенную возможность увидеть события и факты в трактовке «другой стороны», а также оценить предельно бесстыдное искажение истины, в ходе чего и мне досталась порция клеветы. Во всяком случае, меня больше не мучили сомнения, как раньше, когда я сталкивалась с противоречиями в рассказах о происшедших событиях, при которых я не присутствовала сама. Главное — все отчетливо вырисовывались моральные портреты людей. И это было самым важным!

У Фолкнера есть герой, бедный фермер Милк, который застрелил унижавшего его богатого хозяина всего лишь из-за одной недоданной при расчете монеты. До цента отработал он то, что богатый насчитал ему за прокорм коровы, работал, жвав зубы, позволяя себе лишь единственный бальзам бедняков, которым он залечивал саднящие раны, — гордость. Но тяжесть этого последнего, с издевкой отнятого у него доллара оказалась чрезмерной...

С моей точки зрения, а также с точки зрения ближайших друзей доктора, такой роковой монетой для Юриса Видиньша стала очередная порочащая его статья в резекненской городской газете «Знамя тру-

да» от 12 января с. г. и выговор — тоже очередной и стопроцентно несправедливый — на партийном собрании первичной организации больницы. С формулировкой: за преследование врача коммуниста В. Виноходова.

Заведующий хирургическим отделением больницы В. Виноходов был задержан патрулем ГАИ за то, что вел автомашину в нетрезвом состоянии, что подтвердил и анализ, а позже — заключение экспертов Министерства здравоохранения; тем не менее в резекненской газете появилась детективная история о том, как главный врач района Видиньш при соучастии нарколога Ю. Корсака (в тот раз Корсак дежурил в ГАИ и отказался вызывать попавшегося коллегу) преследуют «невинного» врача Виноходова, пользующегося всеобщим уважением.

Еще в начале января в Резекне приезжал заместитель министра здравоохранения республики и старался уговорить Видиньша покончить дело миром, предлагая ему пост главврача города Вентспилса — там надо строить больницу, укреплять медицинскую базу.

Да, в Резекне уже построена и благоустроена большая современная больница, много построено и в районе, в Резекне в хороших квартирах, на подготовленной базе могут жить теперь все, кому Видиньш начал мешать и кто решил избавиться от него. Мавр сделал свое дело, так что пусть себе валит отсюда и строит где-нибудь в другом месте.

Прошлой осенью, разбирая ситуацию в Резекненской больнице, корреспондент записал на магнитофонную ленту рассказы многих людей. Чтобы тот, кто не в курсе дела, понял суть конфликта, я вынуждена, отматывая ленту назад, цитировать эти рассказы (не все — это было бы слишком долго и многословно), в надежде что читающий уловит суть.

Итак, сначала слово врачу В. Виноходову: «Когда Видиньш пил, мы его покрывали. Тогда с ним можно было что-то решать. Такой был податливый. Теперь не пьет совсем и считает себя кристально чистым человеком, у которого есть право всем указывать. На конференциях вытаскивает разные пустяки, не считаясь ни

с возрастом человека, ни с заслугами».

Заведующая Озолайнским фельдшерско-акушерским пунктом Г. Медведева: «Конечно, если человек будет сидеть в своем кабинете ни на что не обращая внимания, многие будут рады. Наши врачебные конференции изменились. Видишь называет бездельников и тех, кто допускает ошибки, по имени и фамилии, контролирует исполнение. И стóит у обиженных появиться организатору, как оппозиция готова».

Заместитель главного врача по кадрам Р. Никитина: «Идут комиссии за комиссиями, нам зачитывают заявления, но фактов никаких не приводят, начинается копание в мелочах, преследование. Апеллируют к демократии в таких грязных делах, что боже сохрани, если теперь главный врач что-то строго потребует, отдаст распоряжение... Те самые телевизоры шефы подарили больнице, а не заведующим отделениями. Видишь хотел переставить телевизоры из кабинетов в холлы, в общежитие. Конечно, скандал».

«Дело о телевизорах и холодильниках», которое прошлой осенью подняло волну конфликта на недосягаемую высоту, с моей точки зрения, позволяет судить о работниках больницы и об их «высоких принципах». Телевизоров нет у больных ни в маленькой Стружанской больнице, ни в детском отделении Виланской больницы, где они, конечно, более важны, нежели в Резекне, так считал Видишь, в кабинетах завотделений. Тем не менее даже недавно, весной, в райкоме человек, занимающий руководящий пост, дает такую оценку главврачу: как-то некрасиво получилось с изъятием этих телевизоров и холодильников... Сначала сам не возражал, а потом отнимает... И еще: почему Видишь все это делает с такой резкостью и категоричностью, почему не может объяснить людям?

Объяснить — кому? Детям, подросткам? Если заместителям главного врача и заведующим отделениями приходится развешивать такие элементарные вещи, ну, тогда простите... Или, например, такой упрек: Видишь не занимается воспитанием своего заместителя Бородулина... Те, кто

знает М. Бородулина, едва ли удержатся от откровенного смеха.

Резок и категоричен... Да, временами в этом проявлялась слабость Видишьша в его отношениях с рядом людей, которые, между прочим, тоже не взвешивали аргументов, используя ложь и публично угрожая: мы добьемся, что ты здесь работать не будешь! Да, Видишьша реагировал резко. Он действительно отнюдь не голубок с веточкой в клювике. Но скажите, нужно ли вообще сносить плевки в лицо? Не мог он и не хотел ни подобострастно, ни трусливо, ни льстиво относиться к своим гонителям. В этом плане некоторые его противники, по общему признанию, действовали куда дипломатичнее, а я скажу — хитрее.

В свое время, стараясь дать объективную оценку как Юрису Видишьшу, так и конфликту в больнице, я использовала выводы, которые дало анкетирование медиков в Резекне, проводившееся централизованной научно-исследовательской лабораторией РМИ. (Не могу не добавить, что все в той же газете «Знамя труда» идея этого анкетирования и его ход и результаты были подвергнуты издевательскому осмеянию.) Сохранился рассказ сотрудницы лаборатории М. Паэгле, записанный на магнитофон. Приведу из него только то, что непосредственно относится к теме: «Видишьша, по оценке своих коллег, требователен к подчиненным, энергично генерирует основные идеи, относящиеся к делу. Его заботят проблемы здравоохранения, престиж своего дела, он непримирим к прихвостням, со знанием дела использует материально-техническую базу. Большая половина полностью принимает стиль и методы работы Видишьша. Конечно, процент доверия мог бы быть и выше, и главному врачу необходимо сделать соответствующие выводы. Тем не менее сравнение анкеты Ю. Видишьша и его заместителей показывает, что положительные в целом характеристики получили только В. Оринская и В. Губенко.

В сложившейся ситуации Ю. Видишьшу пришлось долго доказывать, что его требования справедливы. Даже комиссии министерства пришлось объяснять, что ни к заведующим отделениями, ни к своим заме-

стителям Видиных не обращался с необоснованными требованиями. И теперь, после того как он сдал больницу, очевидно, что в его требованиях была система. Многим она казалась не отвечающей реальности. В сущности, они отстаивали свою плохую работу. Начались личные разногласия.

Да, Видиных грубоват, крайне требователен. Но сам он относится к тем, чья личная работа организована высочайшим образом. Добавьте к этому такое существенное для руководителя качество, как чувство своей задачи. Оно включает в себя умение идти к главной цели, не отвлекаясь на мелочи. Разбрасываться такими способностями — расточительство».

В сентябре прошлого года бюро Резекненского горкома КПЛ вынесло выговор с занесением в личное дело главному врачу Ю. Видиному и выговор секретарю первичной парторганизации больницы В. Мищуку — за то, что не удалось добиться оздоровления морально-психологического климата в коллективе. В. Мищук обратился с жалобой в Центральный Комитет КПЛ, где выговор ему незамедлительно сняли. То есть признали невиновным по всем пунктам.

А Видиныха, выходит в свою очередь, — виновным по всем пунктам... По каким же? Формулировка выговора сводится к «стилю и методам работы», но ни на одну из жалоб, для проверок которых выезжали многочисленные комиссии, ни один из авторов не получил желаемого ответа, так как факты не подтвердились. Правда, суд назвал врача П. Косова клеветником, оболгавшим Видиныха, за что Косов был исключен из партии, после чего поклялся: жив не буду, если Видиныха не уберу с работы! Эта потеря лишь заставила противников Видиныха сменить оружие, и в дальнейшем в обвинениях фигурировала формула: Видиных вечно с кем-то судится.

Да, министерство снова предложило Видиному строить больницу в другом районе (через две недели та же «Циня» процитировала такую характеристику, данную главврачу министром В. Канепом, что остается только удивляться, как министерство решилось доверить «такому» человеку столь ответственный пост!). Было просто сочтено, что одного че-

ловека переместить легче, чем трех-четырех. Причина, по всей видимости, в том, что Видиныха никто не боится, а тех — боятся, ибо они, ясное дело, идут ва-банк.

Может быть, доктору имело смысл принять предложение о «переброске» — во всяком случае, оно позволяло Видиному сохранить лицо. Но он потребовал другого: наказывайте их так же, как меня! Если выговоры по партийной линии — то и им тоже! Не я один виноват!

К сожалению (или к счастью) человек — не только кадр. И ни один человек не походит на другого. Можно приложить немало высших усилий, чтобы подстричь и подравнять всех, как живую изгородь. И кое-кто может быстро подчиниться ножницам садовника (вопрос только — надолго ли?). Другие, как их ни подрезай, все сильнее идут в рост, стремясь любой ценой обрести свое естественное состояние.

Наказывайте их, как меня!

Если спросить, все понимают Милка, фолкнеровского героя. Но повольте, ведь он экстремист! Гордыня взорвала его человеческое естество, подвергавшееся унижению. Из-за одного доллара — что за абсурд, не так ли, коллеги? Уж вы-то должны хорошо знать, чего стоит один такой занудный слепень. Да что там говорить — пусть они себе живут в книжках, эти максималисты, только чтобы не высаживались на нашей станции, где так удачно расцветает новая жизнь и где теперь все, рукоплещая, приветствуют перестройку и демократизацию и, сложив губки, ждут, что за указания поступят сверху, насколько сегодня можно перестраиваться и демократизироваться, насколько — завтра, а может, и вообще не надо, может, игра не стоит свеч...

Приведу строки из «секретного документа», который Ю. Видиных 19 января, еще будучи членом КПСС, написал первому секретарю Резекненского горкома КПЛ П. Шершневу.

«На Вашу просьбу разъяснить, почему я вступил в латвийскую группу защиты прав человека «Хельсинки-86», должен сообщить следующее. Последние годы я подвергался проверкам со стороны горкома партии, различных других компетентных и некомпетентных организаций более три-

дцати раз. В 1986—1987 годах объяснение была вынуждена давать и моя жена. Проводились проверки, унижающие человеческое достоинство. Например: неоднократно подвергалась осмотру моя квартира. Цель — убедить, не обставил ли я ее больничной мебелью, не использую ли для отопления дизельное топливо или уголь, похищенный из Виялянской больницы, для чего обследовалась оборудованная в моем доме баня. Я был вынужден писать бесконечные объяснения, доказывая, что я не вор, не развратник, не женоненавистник, не националист и т. д. Дело зашло настолько далеко, что 30 марта 1987 года я был вынужден в КГБ в Риге писать объяснение о том, что мой отец, умерший в 1962 году, не писал книгу о русификации Латвии, не состоял в айзсаргах или другой антисоветской организации. Все эти проверки грубо нарушали принцип презумпции невиновности.

В последний год под покровом гласности и демократизации орган горкома партии «Знамя труда» стал оружием небольшой группы работников больницы в борьбе против меня и всего рабочего коллектива лечебно-профилактических учреждений. В газете было опубликовано много лживых статей. Например, при проверке публикации «Шоу-программа на медицинские темы» факты не подтвердились. Тем не менее оценка этих «фактов» со стороны президиума Резекненского районного комитета медицинских работников, главного врача СЭС, отдела кадров централизованной больницы и главного бухгалтера не была принята во внимание. Из этого вытекает, что право на открытость, на изложение своей точки зрения в городе имеет только одна группа людей, а взгляды других, не говоря уже обо мне, не принимаются во внимание. И разве это не является самым открытым нарушением прав отдельного человека с сознательным замалчиванием мнения целого коллектива? Во всеобщей Декларации прав человека, в заключительном акте совещания в Хельсинки сказано, что любой человек обладает правом получать и распространять информацию. Вы мне сообщили, что в условиях демократизации у газет есть

право публиковать все, что они найдут нужным, и Вы не можете им ничего указывать. Полностью с Вами согласен. Но в таком случае Вам как первому секретарю горкома партии тем более необходимо было бы призвать к ответственности тех партийных товарищей, кто распространяет ложь и дезинформацию, ибо они глубоко нарушают Устав партии, в котором сказано, что коммунист должен быть честен.

О случаях унижения национально-государственного достоинства. В 1977 году Хэхеле, Барканов и Болотина проверяли анонимную жалобу о моем «национализме». Причина — я дал указание изготовить все надписи в Резекненской поликлинике и больнице на двух языках, сменив старые, которые были только на русском. Также вместе с районным профсоюзным комитетом заказал часть вымпелов только на латышском языке, а часть — на русском. Пришлось писать объяснительную.

В 1985 году осмелился послать первому секретарю парткома Н. Гусеву обычную информацию о работе медицинских учреждений на латышском языке. Первым делом работник парткома Б. Болотина по телефону попросила писать по-русски, потому что, видите ли, первый не понимает. Но когда информация, подготовленная заместителем, снова была послана на латышском языке, ее исключительно грубо приняли в приемной Гусева и с шофером больницы послали мне обратно, сообщив, что Гусеву информация на этом языке не нужна. Об этом случае в 1986 году я написал в «Падомью яунатне».

Полностью поддерживаю слова Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева, что в наши дни растет самоуважение каждого народа, населяющего СССР, что оно представляет собой законную гордость за свой народ, за его вклад в строительство и укрепление нашего государства. Одним из источников этого самоуважения является право на использование своего языка. В последнее время, проводя «пятиминутки» и конференции, я главным образом говорил на латышском языке, которым владею лучше, чем русским. Реакция последовала незамедлительно: я был вызван к секретарю горкома партии А. Чистякову, который

спросил у меня, все ли присутствовавшие понимают по-латышски и не лучше ли было говорить по-русски. То же самое мне пришлось услышать на заседании бюро первичной парт-организации больницы 15 января 1988 года от секретаря В. Мищука. Примечание: и Мищук, и остальные (почти 250 врачей, не считая одного) работают в Резекне и районе больше двадцати лет или даже родились и выросли здесь.

Дошло до того, что когда на одном из депутатских заседаний во время сессии (кажется, это было в 1985 году) я собрался прочесть свое выступление, мне предварительно пришлось выслушать поучительные намеки, что хорошо было бы выступить по-русски. В ходе этой сессии пришлось видеть, как депутат, латыш по национальности, мучился, читая выступление на русском языке. В работе сессии участвовала секретарь Президиума Верховного Совета ЛССР В. Клибике.

Эти примеры не единственные, но и они достаточно убедительно свидетельствуют, как в руководимой Вами партийной организации идет работа по интернациональному воспитанию и какие она приносит результаты.

Нельзя не задать вопрос — неужели Вы всего этого не видите? И что Вы делаете, чтобы такие «деформации национальных отношений» ушли в прошлое? Неужели мне как коммунисту и латышу надо испытывать удовлетворение лишь от того, что на митинге в больнице, состоявшемся 18 ноября 1987 года, Вы одну фразу сказали по-латышски? От того, что, по всей видимости, Вы в школе плохо осваивали этот язык? И не является ли подлинно интернациональным воспитанием тот факт, что мои дети учатся говорить на обоих языках, что от них требуют читать русских авторов в оригинале?

Думаю, что не нарушаю устав КПСС, если позволяю себе иметь по этому вопросу иную, нежели у Вас, точку зрения. И кроме того, у меня есть право на нее не только как у коммуниста, но и как у гражданина.

Что касается группы «Хельсинки-86», то она не совершает никаких противозаконных акций. Не подлежит осуждению тот факт, что в пределах города Резекне мы помогаем прави-

тельству воплощать в жизнь подписанные им документы».

Читатель скорее всего почувствует себя обманутым — в «секретном документе» нет ничего такого, чего бы он не знал — обыкновенная картина нашей жизни, не так ли? Другое дело, как и кто оценивал это раньше, как его оценки изменились теперь, когда наконец прямо и открыто стали говорить о вчерашней деформации национальных отношений в нашей стране. Если начинает расти национальное самосознание маленького народа или народности, значит — проявление национализма. Причем чаще это делается представителями того же народа. В Резекне, к сожалению, еще в начале этого года каждая фраза, сказанная главврачом Видиньшем на пятиминутке по-латышски, вызывала жалобы в партком... Для Видиньша это было саднящей раной. Он пережил немало. Его отец был незаконно репрессирован, а семья выслана в Сибирь. И даже его неустанная, энергичная работа на благо Советской власти не уберегла его от обвинений, не избавила от ощущения «второсортности».

В той критической ситуации, в которой оказался Видиньш, им владела лишь одна мысль: протестовать! На мой вопрос «зачем», заданный вскоре после того, как он вступил в группу «Хельсинки-86», он сам сказал:

— Ведь все шло к моему исключению — выговоры один за другим. А теперь еще и последний, вообще ни за что...

Реакция, как и следовало ожидать, была молниеносной — вон из партии, вон с работы! С какой быстротой, с какой легкостью расстались со своим товарищем! В Резекне были люди, открыто торжествовавшие по этому поводу. А ведь еще в конце прошлого года главврач района Ю. Видиньш с присущей ему энергией пробивал через все ведомства план реконструкции старой больницы на будущий финансовый год... Работал на перспективу района.

Нашлось место и для публикаций в республиканских газетах. Увы, они отнюдь не были проникнуты духом, которого можно было бы ждать во времена гласности, демократизации и перестройки общества, — духом полемики и диалога. Они скорее отдавали запахом тех хулигельных ста-

тей, к которым мы привыкли за десятилетия.

Какой бы шаг ни совершил человек, можно и нужно объективно говорить о причинах, приводящих его к этому шагу. В конце концов, найдим же мы терпение анализировать мотивы даже совершивших тяжкие преступления! Мы перебираем их жизнь с самого детства, их семью, их друзей и недругов, отделяя правду от лжи и собственные их деяния от деяний окружающих их людей. Мы взвешиваем роль обстоятельств и амбиций, мы называем собственные наши просчеты и недосмотры. Нас хватает на понимание тончайших нюансов человеческой психики даже тогда, когда нет оправдания содеянному и суд вынес свой вердикт.

Отчего же на сей раз мы не сделали даже попытки разобраться в причинах, а грубо и однообразно, вчерашними словами обрушились на следствие. Наконец, должны же мы хоть сколько-нибудь думать о том, чтобы не подогревать страсти тенденциозностью и не разжигать новых обид. Достаточно было и старых. Я убеждена: любого человека можно загнать в угол, откуда он будет готов сделать шаг куда угодно. Хоть и в пропасть прыгнуть. Далеко ли от нас то трагичное время, когда окриком и ярлыком мы делали из обычных людей убежденных противников! Зачем нам это сегодня!

Думала ли об этом группа, сплотившаяся против Видиньша? Думала ли об этом журналист Низинская? Газета «Знамя труда»? Мы все?

## ПОСЛЕ ВИДИНЬША

Итак, с поста главного врача Видиньш снят, из партии исключен. Врач Косов может жить дальше. Но жить спокойно ни он, ни другие не хотят. Энергичные люди не собираются почивать на лаврах — они действуют. Косов требует восстановить его в партии (исключен за клевету в адрес Видиньша) и одновременно пишет жалобы — на этот раз на заведующую лабораторией Круковскую, а посторонние наблюдатели уже прикидывают, что он с этого будет иметь. Врач М. Бородулин, используя новое трудовое законодательство, забрал свое заявление об увольнении и остался на работе в Резекненской центральной больнице.

На собрании, осудившем Видиньша, многие, еще недавно голосовавшие за него, теперь подавленно молчали, а часть ближайших его соратников, потрясенная до глубины души, не чувствуя ни опоры ни поддержки, также высказалась в поддержку наказания. На этом собрании прозвучали и совсем уж одиозные нотки — кары призывались на головы тех, кто поддерживал Видиньша, на его сторонников.

Люди были растеряны: что это значит? О чем идет речь? Сторонников? Сторонников в каких делах? По работе главного врача уважали и поддерживали — как энергичного и отзывчивого руководителя, который у многих пользовался личной симпатией, с которым был отработан бок о бок не один год и многое сделано.

В трудные для себя дни Видиньш как-то раз обратился к члену партбюро центральной больницы, гинекологу из Вилян, Валде Мазуренко с вопросом: почему вы меня поддерживаете? Я же вас уволил с работы и скорее вы должны меня в упор не видеть... На что получил от Валды ответ: поддерживаю потому, что знаю, как ужасно стать жертвой своекорыстной клеветы; в тот раз вы поверили им, а не мне; а теперь я поддерживаю вас, потому что вижу, что такая же угроза нависла и над вами.

Вполне возможно, что ситуация не доставила Валде никакой радости, и ее точка зрения, преданная гласности, может послужить той палкой в колесе, которая первым делом повердит ее мужу Николаю Мазуренко, хирургу высшей квалификации (допустим, внезапно выяснится, что его квалификация «понизилась»...). Но сказанное Валдой Мазуренко дает представление о той базе, на которой зиждилась поддержка главного врача Видиньша, — трудолюбие и чувство справедливости. Кому может прийти в голову наказывать человека за это?

О нет, наивности тут не место! В Резекне живет и трудится великое разнообразие людей, выросших в нашем обществе. И у каждого есть возможность из всего спектра нашей жизни выбрать то, что наиболее отвечает его генетической структуре, — то ли из «классического» наследия

37-го года, то ли из 56-го года. «Силы всегда приемы» общественной жизни, всегда замешанные на демагогии, торжествовали десятилетиями, оказывая свое тлетворное влияние и на последующие поколения. В условиях Резекне это отлично получалось — и осмысливая ход событий, нельзя не признать, что получается и сейчас. На многих собраниях в больнице сторонникам Видиньша была придана ясно видимая политическая окраска. В духе «старой, доброй» идеологической работы было сказано о «группе»! Ибо иметь дело только с Видиньшем — для многих это было отнюдь не полной победой (к тому же его не удалось изгнать из Резекне — все-таки законы!). И хотя некоторые из сторонников Видиньша уже начали сожалеть о своих «прегрешениях» и, голосуя, поднимали руки по команде, все же кое-кто, оправившись от первого шока, смотрит в лицо, не опуская глаз. И кто его знает, что он там про себя прикидывает...

Председателя профкома медицинских работников Резекненского района Вио Ратниесе известие о том, что главврач Юрис Видиньш вступил в «Хельсинки-86», изумило и потрясло так же, как и многих других. «Я вас уважала и поддерживала... можете ли вы мне хотя бы объяснить, почему вы пошли на такой шаг?» — спросила она. Вместо ответа Видиньш дал ей прочесть свое объяснение, адресованное секретарю горкома партии Шершневу. В те дни, когда из-за этих событий больница гудела, как потревоженный пчелиный улей, Ратниесе показала объяснение Видиньша еще некоторым членам профкома. Потом к ней явился один из супругов Смолко (активный противник Видиньша и автор жалобы): говорят, у вас есть какое-то объяснение Видиньша. Так нельзя ли бросить взгляд на него?..

Зайдя в кабинет В. Ратниесе, Смолко и Г. Ковалевский, заведующий терапевтическим отделением, прочли объяснение. Позже Вия Ратниесе в растерянности говорила мне: «И в голову не приходило, что написанное надо прятать, особенно от этих людей... Я же не посторонним с улицы давала его читать, но ответственными руководителям коллектива, коммунистам, да и то немногим. И толь-

ко значительно позже, после того как я случайно встретила секретаря нашей партийной организации Мищука и он как бы между прочим бросил: «Никак, вы нелегальные документы распространяете? ну-ну...» — мне стало как-то неуютно, и я стала думать, не скрывается ли за этим что-то угрожающее. Сейчас, в наше время, это казалось невероятным... Я сказала Мищуку: если вы знаете, что делается за моей спиной, почему вы сразу меня не предупредили? Я молодой работник, беспартийная, я не знаю, что тут у вас считается тайной, а что нет».

И в самом деле: Видиньш в то время находился в гуще коллектива, любой мог сам с ним поговорить, рты же не заткнешь. Неужто от него надо было шарахаться, как от прокаженного — как бы не «заразил». И неужели то, чем он сам был «заражен», было настолько всеильно, что человек, воспитанный при советском строе, не мог бы устоять?

Вия Ратниесе — человек молодой, но интеллигентный и спокойный; во всяком случае, у большей части коллектива она пользуется авторитетом, и не случайно, в самые «жаркие дни» в больнице, в сентябре прошлого года ее избрали профсоюзным лидером. И несмотря на свою внешнюю мягкость, она обладает внутренней силой, которая позволила ей прошлой осенью противостоять давлению секретаря парторганизации В. Мищука и его единомышленников, когда зашел разговор о порядке общественной аттестации главврача. Партийное бюро, ссылаясь на то, что невозможно обеспечить явку всех работников, настаивало, чтобы коллектив центральной больницы присутствовал в полном составе, а от остальных медицинских учреждений — лишь делегаты. Профком же стоял на том, что опрос должен проходить при равноправном участии всех медиков; с этим предложением согласились горком и райком партии. Три дня избранная комиссия объезжала все медицинские учреждения района. (Да, вначале предполагалось, что общественной аттестации будут подвергнуты и заместители главного врача, но четыре зама подали в горком партии протест. Мол, такой опрос общественного мнения их унижает (!). И было принято решение

не подвергать риску авторитет заместителей.)

В ходе этого общественного опроса доверие главрачу выказали 80 процентов всех голосовавших, против него выступили примерно 12 процентов, не высказали никакого мнения о его работе 7,5 процента. После издевательской публикации в газете «Знамя труда», после всей «предварительной артподготовки» такой результат голосования был более чем впечатляющ — одних он обескуражил, в других вселил надежду.

Но все это ушло в прошлое, не принеся никаких логичных результатов. Сразу же возобновились догматические наскоки, пошли жалобы, извращения фактов. Противники Видиньша, особо не утруждая себя выбором оружия, незамедлительно постарались очернить прошедший опрос, и даже в адрес секретаря ЦК КПЛ Соболева поступило голословное утверждение журналистки М. Низинской о том, что голосование происходило «с нарушением всех демократических норм». В тот раз Низинская не ездила с опросом, а я ездила. Тем не менее задним числом выяснилось, что она «знает лучше». За почетным столом — точнее, за рабочим — и в Малте, и в Стружанах, и в Каунате, и в Вилиянах сидели тринадцать членов комиссии вместе с секретарем парторганизации центральной больницы В. Мищуком; если там в самом деле были нарушены «все демократические нормы», то тогда почему он там же на месте не вмешался, не навел порядок?

Откровенно говоря, потому, что не было во что вмешиваться. Вмешательство произошло лишь после тщательного обдумывания (например, искаженная информация спровоцировала появление «писем читателей»), что тем не менее в сочетании с определенной позицией партийного руководства города и его нежеланием противостоять злу сработало точно. Таким образом, в феврале, уже во время «хельсинкской эры» Видиньша, на собрании, созванном для его осуждения, стали звучать речи по образцу 37-го года, требующие предать анафеме и руководство города, и Министерство здравоохранения, а тех представителей, которые были присланы Центральным Комитетом партии и Комитетом госбезопасности, —

оценить следующим образом: опять прислали националистов. На собраниях во многих отделениях были приняты решения, идентичные нижеследующим строчкам: «Осуждаем председателя райкома профсоюза медицинских работников т. Ратниеце, которая активно защищала главного врача и способствовала распространению враждебных нашему строю идей и призывов».

А врач М. Черней даже «сообщила о том, что... Ратниеце помогала распространять письма, в которых главный врач призывал вступить в группу «Хельсинки-86» врачей других республик».

Доказательства? В них нет необходимости. Достаточно того, что сообщила М. Черней. Намек свое дело сделает. Но еще лучше было бы, если что-нибудь такое-этакое можно было бы записать в протокол: народ считает, народ говорит... Выслать такой протокол в профсоюз в Ригу, а там уж пойдет, как с той репкой в сказке: росла, росла и до неба выросла. Всем станет страшно и все решат: лучше в это дело не лезть, лучше держаться от него подальше...

Такого чувствительного человека, как Ратниеце, быстро удалось припереть к стене — поскольку у нее не было больше сил опровергать своих хулителей (опять судиться, писать жалобы, опять круговерть комиссий, трепка нервов). И в Риге на заседании республиканского комитета профсоюза Ратниеце попросила освободить ее от обязанностей председателя районного комитета профсоюза. Сдалась.

— Это самое главное, что им надо, — четко объясняли ситуацию и Ратниеце и другие, — Чтобы в профсоюзе был свой, послушный человек.

Но и этого оказалось недостаточно. Удары надо наносить наверняка: как раз за день до перевыборов профсоюзного лидера, 29 марта, резекненцам довелось прочитать в «Знамени труда» очередное страстное сочинение все той же М. Низинской (Варпы), уверяющее общественность, что исключительно профсоюзная организация, и никто другой (первичная парторганизация тут скромно осталась в стороне), является виновником всех бед и неприятностей в

больнице; к тому же она «распространяла» меморандум группы «Хельсинки-86». Последняя новость была осторожно преподнесена как бы в виде читательского письма, на уровне слухов, чтобы редакция смогла в полной невинности умыть руки после грязной работы.

30 марта, уже после перевыборов, ощутив свободу («теперь они меня наконец оставляют в покое»), Вия Ратнице только грустно умехнулась:

— Я этот меморандум и в глаза не видела.

Сказала она это без всяких клятв, не стараясь никого переубедить. Нормальная речь нормального человека. Но, как сельтерская, вспенился через край ее коллега — председатель месткома больницы Дмитрий Николаев:

— Да как они смеют писать, что мы не работали! Мы за эту зиму столько хороших мероприятий организовали!

Широким размахом карающей плети досталось и этому молодому врачу.

— И надо же быть такому совпадению, — не унимался он, — как раз за день до перевыборов!

— Действительно, удивительное совпадение, — не удержалась я от иронии.

Меня в этот момент не покидало чувство, появившееся примерно час назад, на партсобрании больницы, где я оказалась свидетельницей почти циркового представления. Жонглировал заместитель главврача М. Бородулин. Его задачей было сделать так, чтобы работа больницы в прошедшем году выглядела одновременно и белой и черной: все то, что было связано с деятельностью главврача, надо было малевать лишь черной краской, в то же время давая понять, что больница росла и расцветала исключительно благодаря его, Бородулина, заслугам. Я слушала его, ожидая, что собрание коммунистов

вот-вот остановит этот высший пилотаж. Или хотя бы улыбнется наивно-сти хода. Но у коммунистов Резекненской больницы не нашлось возражений.

Зато с какой ненавистью собрание проголосовало за то, чтобы не давать слова главному наркологу района Я. Корсаку, когда он хотел высказать свое мнение относительно «персонального дела» коммуниста В. Виноходова! По решению горкома партии на этом собрании, в конце его, должно было быть рассмотрено дело В. Виноходова об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Но, боже сохрани, не нужно никаких подробностей и мнений! Тот же М. Бородулин свел все к бумажной процедуре, и собранию было предложено утвердить следующую анекдотичную формулировку: «Указать (Виноходову) на недостаточное сопротивление празднованию дня рождения своей жены». И это после того, как официальные эксперты неопровержимо доказали вину одного, а в газете были оболганы другие! И собрание все утверждает! И поднимает руку даже врач, который отлично знает все обстоятельства и еще недавно говорил, что не боится стоять за правду до конца!

На том партийном собрании мне стало страшновато... Я думала о том, способны ли эти люди, разогнавшие машину сведения счетов, остановиться. Ну хотя бы из-за каких-нибудь высших соображений. Например, из соображений, возрастающих по своим последствиям в политическую степень. По сути дела они все, и районная газета и райком, уже и без того немало сделали, чтобы толкнуть Видиньша к крайнему шагу. Теперь они загоняют в угол обстоятельств Ратнице и Корсака, как тот самый хозяин — фолкнеровского фермера Милка. И кто знает, что тут может оказаться для человека той самой последней монетой терпения.

## ПОД ЕДИНОДУШНОЕ «ОСУЖДАМ»

Когда читаешь в резекненской газете статьи о разного рода скандальных историях, где за изложением «фактов» не следуют рассмотрение причин и выводы, где авторы занимают крайне осуждающую позицию, всякий раз берут сомнения относительно правдивости подаваемого материала. Еще и еще раз перечитывая публикации «Знамени труда» о нашумевшей «больничной истории», сопоставляя «факты», приводимые их авторами, чувствуешь себя ошеломленным. Разделив коллектив на два лагеря, где с одной стороны — «враги перестройки», а с другой — «люди заслуженные, но незаслуженно униженные», авторы безраздельно принимают сторону последних.

Разглагольствуя о профессиональной непригодности Видиньша, они позволяют поймать самих себя за руку и уличить в собственной профессиональной непригодности или в более тяжком, на мой взгляд, профессиональном преступлении — подтасовке и фальсификации фактов, за что в сентябре прошлого года им пришлось извиниться перед секретарем Озолайнского сельсовета В. Беловой и коллективом Вилянкой больницы. Необдуманно употребленные огульные фразы «... все общественные организации», «... выражая мнение своего коллектива» наводят на грустные размышления о том, что это либо очередной журналистский трюк, либо мы действительно еще не преодолели свойственного годам застоя чувства стадности, когда под всеобщее единодушное «одобряем» или «осуждам» принимались решения, результаты которых будут расхлебывать еще не одно поколение наших людей.

Настораживает еще вот что. Почему авторы, выступая в роли борников демократии и гласности, не оставляют оппонентам никаких шансов не быть избитыми за то, что их мнения резко отличаются от мнения корреспондента?

Вопрос о профпригодности или непригодности. Можно предположить, что любой врач, становясь главным, что-то теряет в профессионализме, ведь приходится много времени отдавать административно-хозяйствен-

ной работе. А Видиньш еще и строил. Уверен, что знает об этом и автор статьи В. Варпа. Ее прием в борьбе с главврачом можно квалифицировать как «удар ниже пояса».

И еще досадный ляпсус. В случае, когда газета выступает против участия в собрании по аттестации главного врача «поголовно» всех работников медицинских учреждений города и района, включая санитарок, дворников, слесарей, т. е. людей, которые некомпетентны судить о состоятельности и компетентности главного врача, она в то же время допускает, что мнение горожан «о Видиньше как о специалисте» компетентно. И потом, какими сведениями в этом случае пользуется автор? Лично я не припоминаю, чтобы на этот счет в городе проводился опрос общественного мнения.

Я не разделяю политических убеждений доктора, и мне непонятны мотивы, по которым он вступил в организацию «Хельсинки-86». Но зачем же теперь газете опускаться до откровенной травли? Это неразумно. Это будет на руку нашим идеологическим противникам и даст повод толковать об отсутствии у нас демократии, это вряд ли будет способствовать делу нормализации обстановки в коллективе больницы.

Не думаю, что исход этой истории можно представить выигрышным для одной из сторон. Выиграли наши противники, получив деятельного члена организации. Проиграли коллеги Видиньша, втянутые в эту неблагоприятную склоку, в большинстве своем безусловно отличные специалисты и уважаемые люди. Проиграло дело, которому Видиньш действительно был предан, и большая «заслуга» в этом, на мой взгляд, принадлежит нашей газете. Сдается, что не ценят нашего читателя некоторые авторы, представляя его сереньким лотребителем разного рода скандальных историй.

Пишу об этом потому, что лично знаком с этим человеком и мне не безразлична его судьба.

Имея обыкновение выдавать за факты только то, что видел собственными глазами и слышал своими ушами, свое мнение об этом человеке

составил от встреч с ним. Вот некоторые из них.

Пришел к нему с просьбой помочь в приобретении электрокардиографа. Он удивился:

— Зачем вам этот прибор?

— Затем, зачем и медикам — чтобы отличить больного человека от здорового и потом уже целенаправленно проводить оздоровительные мероприятия.

— Так это здорово!

И через неделю мы уже делали электрокардиограммы. Это было началом нашего сотрудничества. Потом при его участии у нас в городе появился врач по контролю за занимающимися физкультурой и спортом, появилось диагностическое оборудование, открыт кабинет по контролю

за физкультурниками, выделена ставка фельдшера. Всегда при встрече доброжелателен и приветлив. Что обещал — обязательно выполнит. Несколько своеобразен в разговоре: говорит быстро и, если тема исчерпана, дает понять, что разговору конец. Все вопросы старается решить немедленно.

Вот таким лично мне запомнился Ю. Ю. Видиньш на посту главного врача.

А под то единодушное «осуждам», под которым в былые времена творились беззакония, и сегодня к истине не придешь.

**С. ДЕМИДОВ,**  
директор спортивной базы  
«Строитель»

**[Выдержки из писем А. Соколова, заведующего отделом промышленности редакции газеты «Знамя труда», пришедших в журнал «Даугава»: «Мои соображения по публикации «Шоу-программа на медицинские темы» и другие статьи» и «Открытое письмо членам редколлегии газеты «Знамя труда»].**

Это профессиональный журналистский ход — из всей суммы фактов берешь только выгодные тебе и тщательно замалчиваешь остальные. Получается вроде «правды и только правды», а на самом деле — шельмование читателя, подсовывание ему суррогата истины, ловко скомпонованной дезинформации.

Кампания, поднятая газетой «Знамя труда» против главврача (теперь уже бывшего) Резекненской горбольницы Ю. Видиньша, в которой главную скрипку играла М. Низинская, — типичный пример «правдивой дезинформации» в угоду чьим-то групповым интересам и нездоровым амбициям. Не хочу быть голословным.

Когда мы критикуем министерство, то обязаны, как минимум, выслушать министра, — слова редактора «Цини» на республиканском съезде журналистов. Ну, министры-то далеко, но ведь «основной враг», главврач-то, рядом: чего проще — поговорить с ним, выяснить его позицию; и уж

## «ПРАВДИВАЯ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ»

после того аргументированно опровергнуть ее. Ничего подобного и в помине не было: Низинская, готовя разгромную статью, даже не встретила с Видиньшем, что является прямым нарушением этики советского журналиста.

Идет явная и прямая подтасовка «мнения общественности»: в газете публикуется мнение лишь тех, кто недоволен главврачом Ю. Видиньшем, причем авторы писем берут на себя смелость выносить приговор даже квалификации Ю. Видиньша как врача.

Если уж уничтожать человека — то до конца. Газета возмущается даже тем, что врачу Видиньшу предоставлен кабинет для частной практики, начисто забывая о том, что никто его не лишал конституционного права на труд. Невольно начинает казаться, что газета призывает ввести практику запрета на работу для инакомыслящих, практикующегося в ФРГ, что много и резко критиковалось у нас.

Формальным поводом для начала кампании против Ю. Видиньша послужил его отказ «выручать» своего коллегу В. Виноходова, управлявшего автомашиной в нетрезвом состоянии. (О деталях этой неприглядной истории подробно и обстоятельно рассказала работница отдела пропаганды и

агитации ГАИ республики Силвия Кемере в газете «Падомью яунатне» за 12 мая; к сожалению, бюрократические проволочки избавили Виноходова от заслуженного наказания — вышли сроки.) Казалось бы, позиция районной газеты по отношению к такому проступку медика должна была быть однозначной. Отнюдь. В статье Е. Никитина «О выезде сообщено по радиации...» он сочувствует выпивохе (каково, мол, ему будет назавтра делать операцию после таких моральных потрясений), упуская из виду другое: а имеет ли моральное право вообще хирург делать операцию после выпивки накануне.

Весь ход кампании против Видиньша, завершившийся таким неожиданным и, я бы сказал, трагическим исходом, при котором межнациональные отношения в республике никоим образом не улучшились, не случается, если исходить из обстановки, сложившейся в редакции городской газеты.

Руководство газеты и не особенно скрывает, что резко не любит мнения, отличающиеся от его собственного. Любая попытка оспорить мнение редактора газеты, уверенного, что газета идет чуть ли не впереди перестройки и тем самым имеет моральное право учить горожан демократии, — любая такая попытка, скажем, на открытом партийном собрании приводит к тому, что докладчику

тут же затыкают рот и обещают «провести для него отдельное собрание».

А ведь перестройка — это не просто побольше критики, да похлестче; это умение вникать в суть дела, выслушивать оппонентов, аргументированно, убедительно и на демократической основе спорить с ними. Но и сегодня, если газета кого-то обругала, тот должен стать перед ней руки по швам — и не дай бог, если «обруганный» позволит себе возражать! А ведь газета — не репрессивный орган и не «вершитель перестройки»: мол, нам все лучше известно и извольте не возражать.

Но такая позиция никак не по духу М. Низинской, все должности которой в одну строчку не уместить: она и заместитель редактора, и секретарь партийной организации газеты, и председатель первичной журналистской организации, и ведет тему сельского хозяйства.

Не в объеме должностей дело, а в неумении пользоваться властью, в злоупотреблении ею, когда любое «инакомыслие» влечет за собой целенаправленное преследование, хотя М. Низинская, конечно же, категорически не согласится с такой оценкой своей деятельности. Но «больничная история» — лучшее тому доказательство...

**А. СОКОЛОВ**

## ОТ РЕДАКЦИИ

По неписаным журналистским канонам, «дело Видиньша» — тема скорее для газеты, если, конечно, ограничиться только фактической стороной конфликта в Резекне.

Но история с главврачом переросла рамки города и своей, так сказать, непосредственной фактуры; она обрела широкий политический резонанс не только потому, что бывший депутат райсовета, член КПСС оказался на «другом берегу». Она показала, как живучи старые методы разговора с человеком, сколачивание групп против него, шельмование на собраниях, применение намеков и аргументов из арсенала политической демагогии. Она показала также, куда может завести обычный местный конфликт. И только поэтому журнал решил разобраться в этом деле.

---

Когда статья уже была набрана, пришло печальное известие: скончалась Зента Яунземе. Буквально за несколько часов до скоростижной смерти, она побывала в редакции, прочла гранки, поставила точку и ушла. Как бы не оставив после себя незаконченного дела. Всю журналистскую жизнь Зента стремилась быть объективной, когда писала о людях и проблемах. Именно поэтому мы попросили ее разобраться в «резекненском узле» и послали в командировку. Последнюю в ее жизни.

## 1. ВМЕСТО МАНИФЕСТА

Если мы проанализируем события последнего времени, то четко увидим, что консервативные силы, направленные против процесса демократизации нашего общества, переходят в наступление. Необходимо понять причины такого положения — чтобы в кратчайшие сроки остановить наступление консерваторов.

Сейчас сторонники реформ и перестройки проявляют активность, исходя из своих убеждений. Они разделились на несколько лагерей. К первому лагерю следует отнести представителей официальных организаций и учреждений, проявляющих свою активность на профессиональном поприще. Она направлена на конкретное изменение отношений в их сфере. Но эти люди озабочены и тем, чтобы сохранить свое положение в обществе. Если их поведение встречает непонимание или сопротивление, они его изменяют. Поэтому у консервативных сил есть реальная возможность влиять на активность профессионалов. В этом лагере мало личностей, способных пренебречь своим положением.

Ко второму лагерю следует отнести всю сферу неформального движения, участников которой роднит убеждение, что без проявления их личной активности в непрофессиональной среде общественная жизнь изменений не увидит. Активность «неформалов» проявляется в различных направлениях. В основном их выбор зависит от того, что конкретный человек считает главным направлением своей деятельности в совре-

менных условиях. Неформальные активисты пытаются установить контакты с профессиональной средой в той или иной области, вовлечь профессионалов в свою среду. Иногда удается достичь успеха. Появляются публикации о том или ином движении, поднимаются те или иные проблемы — но в скором времени такой контакт сходит на нет. Профессионал, чувствуя рискованный дискомфорт, сокращает свое участие в деятельности неформальной сферы. В лучшем случае он продолжает сохранять любопытство к ней — но без афиширования. Об этом можно только пожалеть: неформальная сфера страдает отсутствием или незначительностью притока новых сил, тем более профессионально подготовленных.

Итак, эти две основные сферы активности, хотя и изыскивают возможности для развития своих отношений, практически полностью зависимы от конкретной способности консерваторов дискредитировать их контакты. Пока консервативные силы имеют перевес в обществе, трудно рассчитывать, что произойдет резкое сближение профессионалов с неформалами. Следует подчеркнуть, что прогрессивная сила общества реализуется в сфере неформальных отношений. Именно ее становление или исчезновение позволит всему обществу либо обрести конкретные практические гарантии необратимости процесса демократизации, либо окончательно утратить подобные мечтания. Именно от того, способна ли

сфера непрофессионального движения стать реальной силой общества или нет, зависит окончательный успех сегодняшних начинаний. Начавшееся наступление сил консерваторов говорит о том, что движение непрофессионалов допустило ряд ошибок и позволило поставить под вопрос свое будущее.

Сегодня любому ясно, что только конкретные политические изменения могут нести в себе гарантии необратимости процесса демократизации. В то же время каждый видит, что в настоящее время таких политических изменений нет, и понятно, что если процесс демократизации начнет останавливаться, то любой член общества может попасть под прямую репрессию, причем именно занятия политикой будут подвергнуты наибольшему давлению. Занятия политикой — самая опасная зона активности, предполагает отдельный человек, изыскивая «зоны косвенного влияния», которые помогают процессу демократизации и одновременно гарантируют его личную неприкосновенность в случае сворачивания демократизации.

Есть точка зрения, основанная на иной логике. Те, кто ее придерживается, предполагают, что воздействие на пассивную часть общества должно идти путем разоблачения скрывавшихся пороков нашего социализма, путем постановки конкретных исторических вопросов, что побудит их гражданское сознание к активному действию. Поэтому необходимо идти на определенный риск; откровенно говорить, если надо, о политике, и таким образом добиваться гарантий. Крайности подобного подхода могут вылиться в авантюризм, в политическую невыдержанность, в отсутствие анализа конкретной ситуации. Конечно, все это рано или поздно становится понятно самим «радикалам». И тогда, в зависимости от того, насколько агрессивным и невыдержанным было их поведение до момента осознания опасности, они начинают формулировать иную линию поведения. Они или с экстремистской жесточенностью поднимают крайне резкие политические вопросы или начинают искать союзников на Западе. Если же они, по их мнению, действовали взвешенно, то переходят к повышенной ак-

тивности. Хорошо понимая, что промедление может загубить дело, они форсируют развитие событий.

Есть и тот слой, представители которого ищут лишь личной выгоды. Они видят, что в обществе растут противоречия. Из них вытекает необходимость создания новых общественных отношений. Приспособиться к ним можно, поняв конкретные правила управления сферой неформалов. Следовательно, если сегодня посвятить себя поиску механизмов управления этой сферой, завтра можно обрести конкретную выгоду и получить более удобное «место под солнцем». Такое поведение исключает высокую степень риска. Не поймут власти — можно им все объяснить. И им станет ясно, что люди, способные управлять неформальной сферой, жизненно необходимы.

Четвертый тип поведения людей в среде неформалов основывается на желании подойти к развитию этой среды как силы. Но и здесь присутствует момент боязни за личное благополучие. Как только человек подходит к самым ключевым вопросам теории, его начинает сдерживать боязнь, что дальнейшее расширение и открытое изложение новых взглядов может дорого обойтись их приверженцам. Начинается поиск: как бы примирить эти новые взгляды со сложившейся системой ценностей? Буду ли я понят обществом? Сторонники подобного подхода говорят о необходимости объединения всех активных людей на принципе терпимости, но неформальная среда требует от них не теоретических выводов и постулатов, а конкретных предложений по расширению своего влияния в массах.

Наконец, пятый тип поведения, который формирует среду неформалов, исходит из того, что конкретный человек считает себя исключительной личностью. Он думает, что он не может реализоваться в какой-либо сфере лишь потому, что его окружают либо прямые завистники, либо тупицы. Такие люди, попадая в среду неформалов, пытаются на любом ее уровне проводить свою линию, подчинять своим взглядам любую иную точку зрения. Они согласны на любое объединение «неформалов» — но с одним условием: только их ли-

ния будет признана единственно верной.

Вот основные типы поведения людей, формирующих сферу непрофессиональной активности. Развитие демократии является заветной мечтой большинства членов нашего общества, но эта мечта ограничивается способностью осознать причинно-следственные связи этого процесса, долю участия в нем каждого отдельного человека, закономерности развития отношений в обществе.

Если задуматься о перспективах непрофессиональной сферы, можно отметить, что возможности влияния непрофессиональной политики на общество зависят от объединения сил неформалов, от повышения их профессионального уровня. Революционные перемены в жизни общества были провозглашены с высокой трибуны, а не были «востребованы» снизу. Власти четко оценили ситуацию и совершили unprecedentedное действие. Это обстоятельство ускользает из поля внимания многих неформальных лидеров, и они предполагают, что еще немного — и все общество очнется от долгого сна. Нет. Общество встанет на борьбу только тогда, когда жизнь станет невыносимой.

Именно непонимание этого момента вскружило голову многим лидерам и направило их действия на прямое противодействие властям. «Еще немного! Ну, ребята, давай!» — словно кричат эти лидеры, считая, что общество продолжает спать. В современных условиях такое поведение — самое опасное.

Успех революционных преобразований может быть достигнут только тогда, когда активизируется среда рабочих. Только она обладает внушительной силой сопротивления. Но рабочая среда может быть активизирована только тогда, когда созреют отношения в обществе, когда сами рабочие поймут, что им даст повышение своей активности, которое может стать единственной гарантией того, что рабочие больше ничего не потеряют. Такое поведение по отношению к единственно реальной силе нашего общества требует кропотливой работы, и прежде всего объединения всей сферы неформально активных людей.

В настоящее время необходимо,

отказавшись от получения сиюминутных выгод, четко и грамотно работать на перспективу. Необходимо прекратить все виды агрессивного поведения, направить всю имеющуюся энергию на формирование единства.

Среда неформалов практически включила в себя все сферы общественной жизни: и пресса, и политические клубы, и знание экологии, и состояние экономики. Но все эти силы проигрывают официальным институтам в вопросе конкурентоспособности. Литература не имеет свободного доступа к читателю, экономика и политика, право и экология не имеют прямого доступа к читателю и слушателю, лишены права на дискуссию. Необходимо в кратчайшее время ликвидировать этот разрыв. Необходимо обеспечить прессу неформалов множительной техникой, необходимо на государственном уровне налаживать контакт между всеми неформалами. Необходимо всех их включить в единый процесс объединения сил и творческой работы на перспективу. Именно решение наших главных задач — объединение сил, обретение профессионального уровня, обеспечение конкурентоспособности — гарантия успеха. Именно это и есть политика. Необходимо, наконец, отказаться от примитивной боязни слова «политика» и усвоить, что она, в конечном счете, — наша способность отстаивать политические гарантии процесса демократизации.

Решая главные задачи, необходимо помнить о нежелании существующего режима меняться. Необходимо понимать, что сфера неформальной активности, как только она обретет организационные формы, четкое направление своего развития, станет прямой опасностью для существующей системы отношений, поэтому будут предприняты все попытки для остановки нашего развития. Необходимо разоблачать их, оказывая достойный отпор также и тем, кто пожелает сделать личный политический капитал на использовании нашего движения.

Итак, если вы хотите достичь успеха в нашем деле и представляете его как общее дело всего народа, давайте объединять силы (именно наша разобщенность позволяет кон-

серваторам переходить в наступление). Признаем возможность всех заниматься их конкретными проблемами, но Главная проблема — объединение. Откажем себе в праве на любые формы агрессивного поведения. Будем заниматься ростом нашего профессионализма. Приложим усилия по обретению конкурентоспособности в сравнении с официальными организациями. Будем работать

над повышением уровня политического сознания в рабочей среде. Будем работать, перерастая от стихии к серьезной непрофессиональной организации. Только такое поведение способно гарантировать необратимость процесса демократизации, от которого зависит как наше личное благополучие, так и успех дела общественного преобразования нашей жизни

**Сергей ЕГОРЕНКО,**  
инженер-экономист РВЗ,  
член совета общественных клубов

## 2. БУМЕРАНГ ДОГМАТИЗМА

Догматизм мышления — понятие, мешающее нам в повседневной жизни. И порой оно обретает неожиданные формы, даже в той среде, которая отчаянно борется с догматизмом. Сегодня любой из нас, независимо кто бы он ни был, где бы ни работал, чувствует необходимость в политических реформах — то есть в том, чтобы большая часть государственных и управленческих функций была передана обществу. Но что мы понимаем под словом «общество»? Так ли оно однородно? На сколько лагерей мы поделим его и на сколько могут поделить другие его представители? Как в обществе будут утверждаться начала самоуправления? Кто окажется достойным, кто возьмет на себя смелость взять их бразды? Есть ли границы гласности? Какие законы нужны демократическому обществу? Переходят ли консервативные силы в наступление или процесс демократизации общества идет своим чередом?

И на эти и на другие вопросы попытался ответить мой уважаемый оппонент, но далеко не во всем с ним можно согласиться, хотя я не подвергаю сомнению, что цель у нас одна.

Итак, по логике автора, в нашем обществе действуют четыре силы — «три активные и одна пассивная». Консерваторы — кто они? Ответа — четкого, однозначного, конкретно — на поставленный вопрос нет.

Может быть, имеется в виду статья в газете «Советская Россия», написанная Андреевой? Да, она носит достаточно наступательный характер. Но как же оценивать апрельский (1985 г.) Пленум, XXVII съезд КПСС, последующие пленумы партии? А политические изменения: расширение (хотя и постепенно, в борьбе) границ гласности, экономическая реформа, повышение роли трудовых коллективов, появление «альтернативных суждений», за которые никого не преследуют.

То, что консервативные силы есть и они действуют, не подлежит сомнению, но не менее важно, чем поиски их в нашем ближайшем окружении, мне кажется, остановиться на другом аспекте нашего разговора.

Давайте задумаемся над тем, что ведь в каждом из нас заложены «песчинки» консерватизма и того самого догматизма мышления. Представителей официальных организаций и учреждений С. Егоренок считает «силой перестройки». Правда, непонятно, кого он имеет в виду, что понимать под словом «профессионал»? Ведь это и работники сферы управления в общественных организациях, творческих союзов, в хозяйственных организациях, в кооперативах и т. д., члены выборных органов и аппаратные работники и так далее и тому подобное. И стоит ли голословно, но довольно уверенно определять, что в данном «лагере» мало лично-

стей? На ком же базируется процесс демократизации и гласности? На пришельцах из космоса или лишь на неформалах? Но, думается, они и сами не возьмут на себя целиком и полностью этот груз.

Последняя сила перестройки, считает С. Егоренко, «пассивный» рабочий класс, который «не осознал» своего бедственного положения. И, по словам автора, единственный выход — это активизация работы неформалов в родной рабочей среде.

Однозначно позитивная и завышенная оценка неформалов. Ведь в их среде, как и во всем обществе, есть и прогрессивно мыслящие люди, и экстремисты, есть и делающие личную карьеру на волне общественного внимания; есть «либералы» и те, кто нетерпим к инакомыслию.

И все же в общей композиции перестройки неформальные (или точнее говоря, любительские объединения или группы по интересам) играют свою положительную роль. Ибо суть демократизации политической системы социализма в том, чтобы передать большую часть руководящих и управленческих функций обществу, сделать массы главным действующим лицом, обеспечить эффективный народный контроль за политическими органами. В этом и заключается борьба против бюрократизма, против использования власти в корыстных целях. Здесь неформальные организации рядом со всеми другими органами народодовластия, общественными организациями, трудовыми коллективами занимают свое положительное место. Ибо утверждение самоуправленческих начал в обществе не может быть без того, чтобы не укреплялась вера в возможность трудящихся активно влиять на выработку и принятие политических решений.

Появление неформальных организаций, конечно, связано и с развитием такого длительного процесса, как становление социалистического плюрализма. И практика показывает, что у общества давно назрела объективная потребность в любительских объединениях, клубах и т. д., которые действуют в пользу социализма. И здесь встает много вопросов о статусе, о месте в политической системе нашего общества этого относительно нового явления. Как

обеспечить эффективное взаимодействие с такими объединениями в целях обновления нашего общества? Какие наиболее эффективные направления и формы сотрудничества? У комсомола города накоплен определенный опыт работы с неформальными объединениями и клубами. Главная задача — оказание практической помощи в их становлении. В активе уже театр-студия «Кабата», камерный театр рабочей молодежи, студия № 8, рок-клуб, клубы в «Погребках», клуб подводного поиска «Аквилон» и др.

Надо признать, что неформальное движение появляется там, где недорабатывают официальные организации. Однако их представители заинтересованно говорят о совместных действиях с неформалами по преодолению деформаций, а в статье С. Егоренка чувствуется, что «неформалы» против такого союза и сотрудничества, они ратуют за разделение сфер влияния, ставят целью добиться конкурентоспособности, надеясь таким образом расширить свое влияние в массах и тем самым накопить политический капитал — но как раз в этом они обвиняют другие организации, учреждения и т. д. Вряд ли такая позиция может внести конструктивный вклад в дело перестройки, ибо ее симптомы — те самые «песчинки» консерватизма и догматизма мышления.

В любом случае идея обретает форму в действии, и неформалы тяготеют к формализации. Они — это не какое-то особое движение всего общества, а лишь некоторого его слоя. В нем больше мысли и чувства, еще не реализовавшихся в действиях и поступках, и, может быть, поэтому они рассматривают взаимоотношения «властей» и «неформалов» как столкновение антагонистов — но не конкретно. Противоречия здесь есть, а вот антагонизма — нет, ибо в лучшем случае все хотят одного и того же — двигаться к прогрессу, опираясь друг на друга, но испытывая и недоверие друг к другу.

Мало заявлять о своем желании брать права. Чтобы их взять, удерживать и реализовывать, нужна достаточно последовательная и целостная концепция общественного развития, умение ею практически

пользоваться — в ее отсутствии пока главная слабость неформалов и их лидеров. Сегодня и их чувства перевешивают идеологическую, философскую, обществоведческую компетентность.

Именно упрощенное, а затем искаженное толкование марксизма легло в основу деформации социализма во времена «культа» и «застоя». Можно согласиться с автором, что проблема личной неприкосновенности в деятельности, которая связана с политикой, достаточно остра. И реальна. Действительно, демократизация требует гарантии обеспечения безопасности личности. У нас об этом думают — например, должны появиться новые правовые нормы и среди них — закон, призванный обеспечить защиту личности от возможного давления, всевластия, готовится закон о гласности. Правда, принять закон — еще не значит решить проблему. Предстоит огромная работа по развитию демократических традиций, воспитанию политической культуры общения, терпимости. В политике требуется взвешенность, анализ конкретной ситуации. Но в данном случае, очевидно, надо говорить конкретнее и ставить вопрос конкретнее — идут ли наши действия на пользу обновлению социализма или нет. Под таким углом, я думаю, и надо рассматривать попытки искать поддержку на Западе, экстремистские шаги и т. д.

Очевидно, следует согласиться, что в неформальной среде (так же как в «официальных» организациях) есть люди, которые хотят любой ценой обрести личную выгоду от политической деятельности, то есть они ставят свои личные интересы выше общественных; и лидеры неформальных организаций часто употребляют слова «от имени народа», даже если за ними стоит несколько десятков людей. Такие люди есть в официальных организациях. Как в одном, так и в другом случае речь идет о карьеристах и рвачах, и, очевидно, демократизация общества требует борь-

бы против таких людей, которые выступают оплотом механизма торможения. Непонятно, как понимать «конкретные предложения по расширению своего влияния в массах» без определенной платформы, программы действий в контексте перестройки?! Наконец, пятый тип, исключительная личность (по собственному мнению). В обществе имеется понятие «культ руководителя». Известно, как общество относится к таким руководителям. Надеюсь, что и в неформальной среде таким «типам» лидеров дадут такую же оценку, как дала партия и народ. Ведь, как ни странно, даже в среде неформальных лидеров приходилось наблюдать явления, которые должны были быть им совершенно чужды, — начала авторитарности, нетерпимости к чуждому мнению.

Не могу согласиться с автором статьи, что рабочие не знают своей роли в перестройке. Будь это так, перестройка «повисла бы в воздухе» и не получила бы такую широкую поддержку. Непонятны выводы С. Егоренка — почему «рабочая среда может быть активизирована только тогда, когда созреют отношения в обществе...» И — что для этого необходимо объединить все силы неформалов, после чего они (рабочие) ничего не потеряют. И какую роль в процессе активизации отношений в обществе будут иметь кооперативные производители и интеллигенция (в условиях научно-технической революции)? Дело перестройки — общее дело. Это поиск совместных форм деятельности, это сохранение в нашем обществе специфических целей и черт каждой организации, которые в конечном итоге призваны обеспечить соединение интересов всех классов и социальных групп с общими интересами общества. А общий интерес — перестройка! Поэтому строить наши отношения мы должны на том, что нас сближает, а не разделяет — именно так, я надеюсь, и будет понята эта статья моими коллегами по работе в совете общественных клубов.

**Знедонис ЧЕВЕРС,**

первый секретарь Рижского горкома ЛКСМ Латвии

## УРОК ИСТОРИИ ЭРНСТА ГЕНРИ

### ОБ АВТОРЕ И ЕГО КНИГАХ

Все знают Эрнста Генри как писателя, публициста, мыслителя. Далеко не всем известна, однако, удивительная и трудная судьба этого человека, которому сейчас уже за восемьдесят. Его настоящее имя — Семен Николаевич Ростовский.

Он родился в 1904 году. Когда ему было шестнадцать лет, стал курьером КИМа (Коммунистический Интернационал Молодежи). Всякое познал в этой работе, в том числе и застенки в Берлине (знаменитую тюрьму Моабит среди прочего). С 1920 по 1933 год был членом Коммунистической партии Германии. Печататься начал, когда ему было шестнадцать лет. В качестве корреспондента газеты «Роте фане» побывал в Турции, в 1923 году опубликовал книгу «Анкара», затем, в том же году брошюру «Почему ведется рурская война?».

В 1933 году выехал из Германии в Англию. Уже на следующий год издал в Лондоне книгу «Гитлер над Европой?», а еще через год вторую — «Гитлер против СССР», которые принесли Эрнсту Генри мировую известность. Только в Англии эти работы выдержали пять изданий. В 1935 и 1937 годах они вышли на русском языке. В то время, время известного благодушия на Западе, эти книги стали динамитом. Эрнст Генри, может быть, первым призвал народы к бдительности, к объединению усилий против общего страшного врага.

Были в книгах неточности, просчеты и даже ошибки. Что ж, нам сейчас легко судить автора книг, написанных в 1934 и 1936 годах. Кое-что было просто неизвестно, многое определилось в ходе развертывавшихся позднее событий. Но ведь в главном Эрнст Генри оказался совершенно прав. Поразительно, с какой точностью он уже тогда видел, куда пойдут нацисты, как они будут действовать.

Конечно же, книги Эрнста Генри, в полном смысле слова раздвигшие нацистов, вызвали ярость в ставке Гитлера. Имя автора было занесено в черные списки гестапо. Гестаповцы стали за ним охотиться. После планировавшегося вторжения вермахта в Англию автор книг, взбесивших нацистов, подлежал немедленному аресту и казни.

Все случилось как в дурном сне. Гитлеровцы не добрались до писателя-антифашиста. Но когда после войны Эрнст Генри вернулся домой на Родину, в Советский Союз, здесь он подвергся репрессиям. Горько, больно об этом вспоминать. Но не сказать об этом нельзя — будет неправдой.

Уже живя в СССР, Эрнст Генри написал много книг. Он и сейчас, несмотря на преклонный возраст, весь в работе. Да что об этом говорить, если мы все время читаем его, удивляясь остроте его мысли и глубине анализа. И все-таки книги «Гитлер над Европой?» и «Гитлер против СССР» занимают особое место и в его творчестве, и в литературе такого рода.

Этими строками я хочу предварить непосредственный рассказ Эрнста Генри о себе, о своем времени и о своих книгах.

**Виталий КОБЫШ**

## ПРЕДИСЛОВИЕ К 3-му СОВЕТСКОМУ ИЗДАНИЮ

Рассказывать о книгах, которые я написал и опубликовал 54 года назад, не так просто.

Едва ли когда-либо в прошлом людям самых различных стран приходилось с таким беспокойством задумываться над большими международными проблемами. Ведь никогда раньше человечество не пребывало в таком критическом положении, как ныне, перед прямой угрозой безвозвратной гибели цивилизации, а может быть, и вообще невыживания. Кто может убеждать себя, будто он ничего не видит, ничего не слышит, ничего не знает? Вопрос в том, выдержит ли Земля то грозное испытание, через которое проходят земляне.

Вот почему я и не хочу позволить самому себе как публицисту стареть хотя бы на один день. Я уверен, что уже наши дети и внуки станут живыми свидетелями небывалого расцвета мировой культуры, и ревниво завидую тем, кто будет непосредственно участвовать в этом. Представлю себе нечто противоположное, Землю, заселенную кое-где вымирающими, беспомощными неандертальцами, я не могу и не хочу.

Это, конечно, не значит, что историческая драма, действия которой сопровождают нашу жизнь, на мой взгляд уже сегодня близка к завершению. О ней, о политическом иступлении тех лет, о книгах, которые были моим оружием, я и рассказываю.

Случайно оказалось, что я приехал по семейным делам в Лондон из Берлина 1 февраля 1933 года, на следующий день после прихода Гитлера к власти в Германии.

Британская полиция встретила меня настороженно. Грозил немедленная высылка, но меня поддержал только что основанный там Антифашистский комитет, к которому примыкали такие люди, как знаменитый писатель-фантаст Герберт Уэллс. В органе лейбористов «Нью стейтс-

мен энд нейшн» я напечатал несколько статей о подпольных антинацистских «пятерках» в гитлеровской Германии, что сблизило меня с главным редактором этого влиятельного тогда журнала Кингсли Мартином.

Поэтому я не удивился, когда мне сказали, что со мной хочет встретиться известный поэт Ричард Черч, работавший тогда в лондонском издательстве «Дент энд санз» в качестве литературного консультанта. Он позвонил моим друзьям в лондонском Антифашистском комитете и просил их уговорить меня быстро написать книгу о гитлеризме, о котором в Англии почти ничего не знают. Это было прямое приглашение со стороны честной английской интеллигенции, испуганной фашизмом.

Некоторые английские обыватели считали, что преступления нацистов преувеличиваются, что немцев обидели в Версальском мирном договоре и что они пытаются только защитить свою страну. Таким надо было открыть глаза.

Черч увиделся со мной. Он не разбирался в политике, но хотел что-то сделать для антифашизма, который в Англии только становился на ноги. В день встречи с ним все было обговорено и решено за один час.

Я тут же, не медля ни минуты, ухватился за предложение Черча. Договор с издательством был подписан сразу. Меня просили только, чтобы я в книге не обругал никакого англичанина, кто бы он ни был и чем бы он ни провинился, так как это грозило привлечением к суду за ущерб его бизнесу и большой «компенсацией» ему, доходящей чуть ли не до нескольких тысяч фунтов стерлингов. Гитлеров и немецких фашистов я мог разоблачать сколько и как угодно. Это меня вполне устраивало.

Пришлось работать как вол, не спать ночами. Но оказалось, что надо было учитывать и своеобразную

«романтическую» сторону дела. Обо мне в Англии и других странах тогда распускались разные слухи. Меня называли то немцем, то англичанином, то скрытым «коммунистическим агентом», намекая, что я стремлюсь «отравить англо-германские отношения».

Смутно чувствовалось, что кто-то откуда-то за мной наблюдает и свой счет на меня все время ведет — вероятно, по инструкции из Берлина. Если бы этот счет был тогда же раз и навсегда закрыт, как закрывали тогда счета многих тысяч людей, очутившихся в концлагерях, моя книга, конечно, никогда бы не вышла. Но само наличие моего счета в точности подтвердилось 12 лет спустя, в документах гестапо на Нюрнбергском процессе, когда наблюдать за мной уже было поздно.

Помогла мне и английская журналистка Анабел Уильямс Эллис, в 1934 году посетившая в лейпцигской тюрьме Георгия Димитрова. Если не ошибаюсь, она раньше была секретарем Герберта Уэллса. Стал моим другом также видный английский адвокат Д. Н. Притт, который защищал меня в правительственных кругах,

когда полиция пыталась выдворить меня из Англии. Приходилось кочевать по знакомым, менять платье и походку, прибегать ко всяким не очень приятным ухищрениям. Но книга писалась. Иногда мне казалось, что она пишется сама собой.

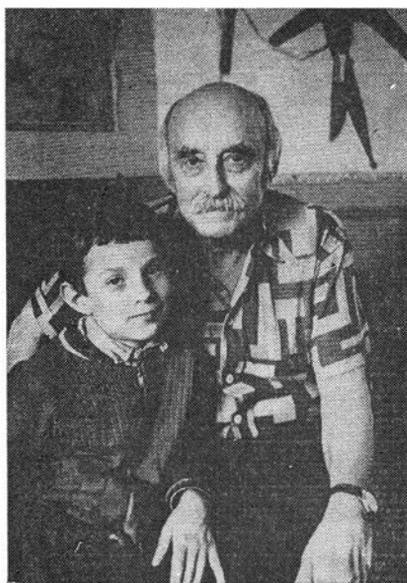
Никто в Англии, да и в других странах, не знал, что фашисты собираются устроить, каким чудовищным спектаклем обернется их попытка напасть на человечество. Вспомнился поджог рейхстага. Что еще придумает гестапо? Мерещилось самое невероятное. Можно ли защититься от Гитлера и Геринга? Велись бесконечные споры.

В январе или феврале 1934 года моя книга вышла в свет в переводе на английский язык (писалась она на немецком) под сенсационным заглавием «Гитлер над Европой?», испугав многих простодушных англичан.

Она выдержала, кажется, не то четыре, не то пять английских изданий. Ее переиздание, как мне писали, расхватывали в США. С американскими издателями потом пошли финансовые споры. Но я уже не вмешивался. Опубликовали книгу и на испанском языке и, кажется, где-то еще. Мои лондонские друзья были довольны. Тогда же я подружился с одним из руководителей английской компании Биллом Галлахером, который рассказывал о книге на собраниях шотландских горняков. Я многому научился от него. Но зато у меня прибавилось ярких противников. Жить без них, правда, довольно скучно.

Меня по-прежнему не арестовывали. В Лондоне знал обо мне только наш посол И. М. Майский и еще один товарищ. Я почти нигде не останавливался на несколько ночей подряд. Но мне все-таки обычно удавалось присесть где-нибудь в уголке, задуматься и писать.

Шла спешная работа над второй книгой, о которой я уже договорился раньше. Писал все так же по ночам, пил огромное количество крепчайшего английского чая и методически проверял, нет ли вблизи моего дома в тот момент следов гестапо. Я знал, что оно мною интересуется, у них было такое задание еще в Берлине. Но тогда меня не схватили. Лишь однажды как будто пытались войти в мою квартиру. Английская полиция вообще обычно



Эрнст Генри с сыном. 1987 г.

старается вести себя почти «по-джентльменски». Вела так, но следила неусыпно.

Вспоминаю, что договор с издательством на новую книгу был заключен сразу же. Так нередко бывает в Англии, где споры с автором какой-либо сенсационной книги ведутся в основном о ставке гонорара, но тогда, правда, довольно горячо. Я не спорил: принимал, что давали. Судьба следующей книги была обеспечена. Она вышла через год после первой под заголовком «Гитлер над Россией?» и издана позднее в Москве под заглавием «Гитлер против СССР».

В лондонском журнале «Текущая литература» говорилось: «Изумительно хорошая книга, какие появляются очень редко». Комментатор Би-би-си Чарлтон заявил: «Никто не должен пропустить эту значительную книгу». Ее похвалил даже Хью Далтон, тогдашний председатель лейбористской партии и II Интернационала. Одобрил позднее мои книги и другой лейбористский лидер — Ласкин. Помню, все эти деятели особенно любили Чехова и ненавидели нацизм.

Заказы на книгу приходили из разных стран. В Париже на немецком языке ее выпустило издательство Коминтерна (Вилли Мюнценберга) под названием «Поход на Москву». В США эта книга вышла в крупном издательстве «Саймон энд Шустер» и попала в число бестселлеров. Живший тогда в Америке Эйнштейн так публично высказался о ней:

«Если эта книга встретит такое полное понимание, какое заслуживает, то ее влияние на развитие отношений в Европе не может не стать решающим и благотворным»\*.

Это высказывание сыграло свою роль. В спецслужбах США, видимо, намотали на ус. Кто стал бы спорить с Эйнштейном, другом Рузвельта? Ликвидировать меня во всяком случае не решались, думаю, не желая вызывать скандал в Англии. Даже немцы тогда, кажется, не зашипели. Но гестаповцы не забыли ни о той, ни о другой книге.

\* И. М. Майский. Воспоминания дипломата, М., 1971; Борис Полевой. Дальнебойная книга; «Литературная энциклопедия».

Тогда же меня внезапно выслали из Англии в Бельгию, потом — во Францию. Одно время находился на острове Корсика. В жизни началась новая глава.

\* \* \*

Перелистывая предыдущие издания этой книги на разных языках, я обнаруживаю некоторые ошибки, умолчать о которых, разумеется, не хочу. Так, на 148-й странице второго русского издания «Гитлер против СССР» утверждалось, будто гитлеровский вермахт в дни второй мировой войны не сможет прорваться сквозь сверхмощные оборонительные укрепления «линии Мажино», построенные французами, что немцы будут стоять на Западе «перед барьером, непроницаемость которого сделала его почти абсолютно неприступным... Эта непроницаемость не просто дипломатическая или политическая, она стратегическая в самом конкретном смысле этого слова».

Думать так было неверно. На деле гитлеровцы в 1940 г. и не штурмовали «неприступную» линию Мажино, а обошли ее через Бельгию и Голландию, нарушив нейтралитет этих стран. После этого война Франции и Англии против фашистской Германии была в сущности уже проиграна. Париж был вскоре сдан без боя, а английская экспедиционная армия, поддерживавшая французов, бежала на родину через Дюнкерк.

То и другое позволило тогда Гитлеру перегруппировать свои силы и год спустя, перехитрив Сталина, вероломно напасть на нас. В результате Красная Армия оказалась в невысказанно тяжелом положении, Гитлер был уверен, что покончит с ней в течение нескольких недель.

Трудно отрицать, что политика Сталина в то время во многом соответствовала скрытым предположениям Гитлера. Ни Сталин, ни его соратник Молотов не сумели своевременно разгадать эти замыслы, а Тухачевского, Якира и других проверенных военачальников уже не было в живых. Литвинов, кто понимал, что происходит, был снят с поста руководителя советского дипломатического ведомства и исключен из состава ЦК партии. Это, возможно, физически и спасло его.

В первых изданиях книги привлекают внимание и другие пробелы. Надо было предусмотреть, что Гитлер вообще может сначала броситься не на восток, против Советского Союза, а на запад. Атаковав в первую очередь Францию и Англию и «молниеносно» разгромив их (как это в сентябре 1939 г. и произошло), Гитлер, возможно, рассчитывал заставить обе западные державы в панике присоединиться к его главной атаке — на СССР, — возродить «мюнхенский сговор». И тем ideally для Германии решить всю войну. Это Гитлеру удалось лишь частично. Но Сталин и этого не предусмотрел и не использовал выигранное время для спешного укрепления пограничных советских позиций. Как известно, он поступил тогда наоборот — накануне войны серьезно ослабил штаб и пограничные позиции Красной Армии. Он поверил в договоренность с фашистами о «ненападении». Разве можно оправдать его в этом страшном непонимании действительности? Сталин вовсе не был таким изумительным стратегом, как многие о нем десятилетиями говорили. Его всегда толкали туда, где можно было покривить душой. В этом он видел мудрость.

Не произошло в 1941—1945 гг. и массового революционного восстания в Германии, того, что так страстно ждали тогда от германского рабочего класса люди во всей Европе. Боевых антифашистов, готовых к решительным действиям, в разных странах было слишком мало, они только начинали набирать необходимый практический опыт, готовить подпольщиков и ждать сигнала от того же Сталина.

Мало того, Гитлер перед войной смог подавить волю немцев к активному сопротивлению ему и в какой-то мере заразить многих шовинизмом, подкидывая им разные поддачи за счет других европейцев. Но

сразу же после капитуляции вермахта потрясенное население Германии капитулировало в свою очередь. Фашизм недолговечен, он рассыпается, когда в критический момент широкая масса народа отворачивается от него. Огромный же аппарат нацистских бюрократов побоялся сделать хоть один реальный шаг к спасению Гитлера.

Надо, бесспорно, признать и то, что вина за политическую пассивность германского рабочего класса в дни второй мировой войны лежит и на обеих немецких рабочих партиях — социал-демократах и коммунистах. Те и другие не решились сплотить свои силы для совместных действий против Гитлера, действий, которые в 30-х годах еще могли бы изменить все положение в Германии. Коммунисты не забывали о том, что предписывал Сталин, публично назвав социал-демократов «социал-фашистами», а правые социал-демократы кое-где в стране, глядя на страшную участь брошенных в концлагеря своих единомышленников, предпочитали вообще не двигаться и молчать.

Было известно, например, что Густав Носке, крайне правый социал-демократический лидер и бывший военный министр, который в 1919 г. был в сговоре с убийцами Карла Либкнехта и Розы Люксембург, при гитлеровцах продолжал спокойно получать государственную пенсию от нацистских властей. Такие факты отбрасывали коммунистов и социал-демократов предельно далеко друг от друга, и это спасало Гитлера. Если бы такого не было, то он едва ли смог бы захватить и удержать власть. Но так и произошло в 1933 году. Лишь в конце 40-х годов, начав строить социалистическую республику ГДР, немецкий народ на глазах у всех приступил к своему национальному возрождению.

## Два мнения об одной книге

Публикуемые ниже под одной рубрикой два отзыва о последнем и в определенном смысле итоговом сборнике переводов и русских стихов Анатола Имерманиса ни в коей мере не являются традиционными критическими «pro» и «contra». Обоим авторам поэзия Имерманиса представляется симпатичной в одном и наивной в другом. При этом нетривиальность соположения двух мнений диктуется не только тем фактом, что один из критиков — Я. Рокпелнис — моложе Имерманиса на 40 лет, а другой — А. Ивлев — на 50, хотя и этот факт заслуживает внимания. С одной стороны, он говорит о том, что Имерманис одинаково интересен поколениям и 60-х и 70-х годов. Но с другой, и это, пожалуй, основное, важно различие взглядов на одного из «зубров» латышской поэзии со стороны 60-х и со стороны 70-х. Я. Рокпелнис смотрит на творчество Имерманиса изнутри латышской культуры; и, что явственно читается в его отзыве, хорошо знаком с поэтом. Тем не менее он дает обобщенный и внешний портрет поэзии Имерманиса. А. Ивлев, взгляд которого направлен извне, из русской культуры, напротив, будучи отстранен от Имерманиса-человека, смотрит на его поэзию более лично и интровертно, пытаясь вскрыть внутренние пружины его удач и промахов. Именно этой парадоксальностью прежде всего интересен факт соположения двух отзывов.

Алексей ИВЛЕВ

### ИСКУШЕНИЕ СЛОВОМ

«Избранное» Анатола Имерманиса воспринимается прежде всего в историческом аспекте, тем более что ретроспективная часть книги достаточно обширна. Подобный, сопрягающий классику и «современность» принцип творческого отчета позволяет читателю не только выявить

«корневые образы», кочующие из сборника в сборник, что безусловно и есть ключ к пониманию его творческих принципов, но и увидеть, что поэт утрачивал, когда приобретал.

Символ творчества каждого поэта (как и языковой культуры в целом) — дерево, Древо, со своими корнями и молодыми побегами — глубинной памятью и недавно написанными стихами... Поэтому мы и начнем с «корней».

---

Имерманис А. Избранное: Стихотворения / Пер. с лат. — М.: Худож. лит., 1987.

Острая публицистичность, даже политический пафос, которого Имерманис в начале творчества отнюдь не чурался, сегодня воспринимаются с невольной улыбкой... Когда мы читаем, например, такие строки о забастовке в лиепайском порту:

Незаживающая рана вскрылась.  
Веками в сердце ненависть  
копилась... и т. д. —

мы, понимая, что это, конечно, не столь дань моде начала пятидесятых, сколько желание поделиться с читателем впечатлениями от событий, которым поэт был не только очевидцем, мы все же предпочли бы узнать о них более непосредственно... Для меня в большом стихотворении «Город нашего детства» единственно «работающими» сегодня оказались строки:

Все радостнее песнь колес живая,  
их «тра-та-та» все громче  
и звучней...

Вот именно из-за этого «тра-та-та»...

В то же время стихи неоднозначные, имевшие место уже в первых сборниках и отчасти представленные в «Избранном» — «Где встретятся все корабли» и, несмотря на скороговорочную схематичность — «Парк дышит июньской истомою...», как раз и стали тем ростком, из которого позже сформировались «Древо познания» и его плод... Забегая вперед, скажу, что именно эти, написанные в последнее десятилетие стихи дают повод говорить о поэзии Имерманиса всерьез.

И все же — вернемся ненадолго к «актуальностям», ибо вопрос о них, несмотря на очевидность, далеко не решен... Факт: как только поэт начинает с чем-то безусловно соглашаться, а именно с тем, с чем согласно и большинство, он неминуемо утрачивает контакт с читателем, по крайней мере как поэт. Ему внимают не читатель-слушатель, а Некто, не имеющий отношения к поэзии... Почему? Ответ, очевидно, в содержании таких стихов: они как бы ни о чем... Более того — они как бы не имеют конкретного автора... Здесь я говорю не только об Имерманисе.

В этом плане стихи военных лет,

например «Снова на фронт», интересны тем, что, несмотря на простоту, они сообщают читателю сложные, противоречивые чувства отбывающего из госпиталя бойца вновь на фронт, туда, где калечат и убивают... Мы верим этому стихотворению, ибо здесь автор высказался не комментативно, а через свою, солдата Анатоло Имерманиса, судьбу.

Публицистические стихи, таким образом, один из самых сложных жанров, содержащий противоречие в самом названии, требующий от поэта предельно трезвого взгляда, которому природа поэзии как раз и противопоставляется более всего...

Отрадно, что главное в книге — другое. И лучшие ее страницы — радость для читателя и урок для поэта.

Мне интересны стихи Имерманиса, в которых он беззащитен от озарений и сомнений, от мыслей о вечном и времени, которое и есть быт, болезни, одиночество:

Шрамы. Дыры уколов.  
Смертью надо б спасаться.  
Но захочешь ли голым  
пустырем ты остаться?

(Памяти Ояра Абола)

«Жизнь. Блудница? Святая?» — спрашивает он в этом же стихотворении. Он действительно не знает. В этой тягостной контрастности (или — в зависимости от текста — пьянящей балансировке) между inferнальностью и духовностью — и черпает силы поэт. Это, конечно, вечный, «проклятый» вопрос, и плох тот поэт, что знает на него ответ... Ко времени написания последних книг этот вопрос стал для Имерманиса главным. В этом он, впрочем, вполне современен. Удивительно ли, что в такой постановке вопроса (Блудница? Святая?) естественным комментарием служит еще одна сквозная тема — лирическая (приапическая).

Можно посочувствовать герою любовных стихов Имерманиса, его — опять же — стремлению к балансировке между возделением и «здравым смыслом», душевным целомудрием:

Ты — живая свеча.  
Ты горишь, насылая дурман.

Рыжий пламень волос  
лижет груди твои и колена.  
Как тебя потушить?  
Сам навеки загореться боюсь!..  
(Богиня)

Любовная тема присутствует в стихах Имерманиса постоянно. Это не «светлая печаль» пушкинского «Я вас любил...» и не «сама собой разумеющаяся» эротика Чака. Тема женщины у него созвучна теме жизни, любовь здесь — не что иное, как рок, случайный подарок, расставание с которым равносильно расставанию с жизнью:

Я тебя не люблю.  
Но теперь я спокойно бы умер,  
Потому что сумел убедить  
сам —  
Есть подобное спирту,  
Есть такое безумие,  
Что пьянеешь до яности,  
Родственной небесам...  
(Я тебя не люблю...)

Любовь эта неотделима от страдания, настоящей пытки:

Рыдал твой рот безмолвный,  
хоть поцелуй  
жгли меня.  
Жгли, но были горьки —  
поскольку рот рыдал...  
Все как прежде будет:  
люблю и снова мучаю...  
(Рана в срок затянется...)

воспоминание о которой мутируют в снообразное действо:

Из недр истекает горячая лава.  
Твердеет и гаснет багряный изгиб.  
Огню поклоняться утратил я  
право,  
начертано пеплом: «Ты изгнан!  
Беги!»  
Лицо твоё стало подобием камня,  
у каменных уст твердо складки  
легли.  
И прочь я бегу!  
Но дыханье вулкана  
вслед низвергает потоки любви.  
(Из недр истекает  
горячая лава...)

И, наконец, уставший, ощутивший мгновение назад жизнь всей поверхностью тела, а теперь, отстранившись, ощущающий нечто большее, чем облегчение:

Пропитанные солью,  
как спины углекопов,  
в напряжении прищуренные,  
как глаза океанских пучин,  
короткие мгновения равновесия,  
балансирующие на иллюзии,  
как все в этом мире,  
в зыбком мареве рожденные,  
чтобы, в многозначности  
затвердевая,  
по шатким ступеням  
добраться до колыбели...  
(Часы)

Мотив искушения, ключевой для человечества, на редкость характерен для Имерманиса... С первой юности он был искушен революционными идеями, живописью, словом... Цепь искушений — тяжелая цепь. Имерманиса эта цепь привела к желанному самовыражению. Не каждому под силу эта цепь. Не каждый в семьдесят два года выпускает книгу, подобную «Яблоку с Древа познания».

Как хочет змий,  
свернувшийся меж нами,  
чтоб мы сорвали яблоко греха.  
Но чья-то речь, печальна и тиха,  
тревожит слух древнейшими  
словами...

Но не стоит очень доверять кающемуся поэту, как не стоит слишком горько вздыхать над его «пирами» в парижском кафе «Лила»:

Днем я пощусь. И лишь во сне,  
как волк,  
глотаю целиком бараньи туши,  
и рой натурщиц, сочных, словно  
груши,  
под брюхом стелется  
как рыжий шелк...

ибо:

Но дух —  
он отвергает плоть живую  
и мертвую — искусство поварих.  
Пока во сне как наркоман пирую,  
он графоманом пишет за троих...

Он ненавязчив в интерпретации своих образов. Так, снег в его «Зимней мелодии» равнозначно может быть прочитан и как символ мимолетности (ср.: «искать прошлогодний

снег»), и как символ качества жизни, «негодной в употребление» —

Мне почтальон приносит снег,  
и продавец,  
небрежно взвесив, упаковывает  
снег.

И в белый сон душа нисходит  
наконец...

Стихи, итоговые для книги «Яблоко с Древа познания» — «Разговоры...» и примыкающие к ним — «Синий всадник» и фрагментарно процитированное выше «*Closerie de Lilas*» (в «Избранном» эти стихи оказались разъединенными), примечательно «молоды»... Думаю, что не ошибусь, если скажу, что это — одни из лучших, если не самые лучшие стихи, написанные Имерманисом.

Поэт живет долго, противоречиво и все же — счастливо, если муза и

в преклонных годах одаривает его вниманием.

Сегодня — не лучшая пора для стихов Имерманиса. Сегодня ее зерна еще неотделимы от плевел, сегодня, мягко говоря, среднее стихотворение «Зонтик» — под одной обложкой с «Талантом». Время все поставит на свои места.

В заключение — небольшое, но, на мой взгляд, необходимое замечание составителю.

Название последнего раздела книги — «Стихотворения вне сборников» — предполагает самые разные даты написания вошедших в него стихов. Однако даты написания не даны. Читателю остается лишь гадать по содержанию, когда написано то или иное. Между тем датировка могла бы дополнить впечатление об этапах эволюции творчества поэта.

Янис РОКПЕЛНИС

## «ГОДЫ ПОМОГАЮТ МОЛОДЕТЬ...»

Я намеренно не стал допытываться у Анатола Имерманиса о принципах и превратностях отбора его стихотворных пьес (как писали еще в начале века) для солидно зеленокожего, впрямь литературно-генеральского «Избранного» (М., «Художественная литература», 1987). Ибо, переиначив слова еще недавно популярного шлягера, «*Life is life*» — книга это книга. Она сама должна себя защитить. Любые литературные адвокаты являются с опозданием — двери обложки уже захлопнулись за стихами...

О столь колоритном персонаже послевоенного латышского литературного мира, как Анатол Имерманис, уже достаточно сказано в предисловии В. Даугмалиса. Уж конечно, Анатол не принадлежит к столь распространенному типу нахрапистого, но и застегнутого на все пуговицы литератора — он действительно один из последних могижан богемы, вечный *enfant terrible*.

Но речь о стихах. Путь поэта в литературе извилист, как след змеи. Только с годами проясняется пара-

докс Имерманиса — от «неслыханной простоты» (простите, что поминую строку Б. Пастернака всуе) единого стиля сталинского и постсталинского соцреализма до по-пастернаковски же якобы усложненной, а в действительности наиболее адекватно выражающей внутренний мир поэта стилистики. Не стоит особенно доверять поэтическим декларациям и программам, однако одно стихотворение из «Избранного» воистину оказалось пророческим, ибо — сбылось:

Старым быть — заслуги в том  
не много.

Юным быть — заслуги вовсе нет.  
Трудно, если осень на пороге,  
Стать моложе, сбросить бремя лет.  
Вечно юным быть — забыть

про отдых,  
Видеть новое во всем и впрямь.  
Коли так, не сетую на годы, —  
Годы помогают молодеть.

Ведь нам более привычен другой — торный путь поэтов: от юношеской бесшабашной фантазии и от-

важного эксперимента к сановитой простоте (а точнее говоря, к иссяканию поэтического дара). Очевидно, здесь сказались и старая завскаса юности Имерманиса — двадцатые, тридцатые годы, годы расцвета творчества Александра Чака и Яна Судрабална. Но к этому мы еще вернемся.

Четко и зримо «Избранное» разламывается на две части. В ранних представленных в сборнике стихах Анато́л Имерманис уверенно шагает в ногу со своим временем. Здесь полный джентльменский набор расхожих тем той эпохи; время течет линейно — «время, вперед!». Природу, конечно же, следует покорять, капиталисты, сомнений нет, уже доживают свои последние денки и т. д. И решаются эти — общесоюзно-поэтические — темы главным образом тем же шершавым языком плаката. Мы все крепки задним умом и ныне можем снобистски поучать поэта. Или — наоборот — реабилитировать его творчество того периода, сославшись на «объективные обстоятельства». Но, очевидно, не зря Анато́л Имерманис в пятидесятые годы прочно входил в пресловутую всесоюзную обойму лучших поэтов национальных литератур и был выдвинут на соискание Сталинской премии (упразднение коей именно в том году Н. Хрущевым лишило поэта возможной возможности ее получить. Это, впрочем, не помешало Имерманису посвятить Хрущеву стихотворение «Зонтик», вошедшее и в «Избранное»).

В пятидесятые годы Имерманис был действительно популярен в Латвии — и отнюдь не казенной популярностью. Искренний лиризм поэта, высокая поэтическая техника, смачные (по тем временам) метафоры, крупницы «драгоценной прозы» выделяли его творчество из потока прописных стиховых поделок. Потому что — пусть еще прямолинейно — в произведениях Имерманиса запечатлелась его непридуманная биография (тюрьмы, военные годы). Но Имерманису органически чуждо спекулировать на своих былых заслугах. Львиная доля успеха пришла на любовную лирику поэта. В те пуританские времена любовь в качестве объекта поэзии рассматривалась чуть ли не как антисоветское явление

(очевидно полагалось, что население Латвии приумножается только путем механического прироста). Лишенная всякого ханжества, с легким налетом сентиментальности, эта область творчества Имерманиса без единого выстрела завоевала молодого читателя. А стихотворение «Хрупкие листья» давно фольклоризовалось. Помню, когда мы его пели в застольях шестидесятых годов, то почти все считали, что это — произведение Чака. Чак же для нас был синонимом высшей поэзии.

В шестидесятые годы Имерманис начинает писать по-русски и на время выпадает из контекста собственно латышской поэзии. Здесь я отсылаю читателя к предисловию «Избранного».

В латышскую поэзию Имерманис «иммигрирует» в начале семидесятых годов. Новые лица, новые имена... И тогда снова проявляется одна удивительная черта Имерманиса-человека: он дружит, общается с самым молодым поэтическим поколением. Не говоря уж об одноклассниках — как только одно поколение стареет, утрачивает художнический запал, Имерманис находит друзей, литературных сверстников в следующем молодом поколении. И это не рассудочная попытка примазаться к свежим силам литературы, не подсознательный подхалимаж, а органическая потребность собственного творчества, которое естественно, как дерево, накапливает все новые годовые кольца, а не высится монументально-законченно, как телеграфный столб. Знание языков, огромный багаж культуры, пополняемый каждодневно, неостывающая любознательность, ум, освобожденный от всякого рода — в том числе и возрастных — догм, — все это как бы «снимает» возраст поэта. А настоящий поэт — тот, кто вне поколений. И на восьмом десятке Имерманис легко находит общий язык с любым молодым неофитом поэзии — язык не только житейский, но и поэтический.

Конечно, не так просто поначалу было Имерманису вписаться в новую латышскую поэзию семидесятых годов. В отличие от русской, латышская «авангардистская» поэзия уже в те годы пробилась на страницы печати и книг. Причем эта поэзия черпала из первоисточников — ведущие

поэты нового поколения являлись полиглотами и активно занимались переводами, обходясь без подстрочников. Известно, что каждая национальная литература усваивает из других литератур именно то, что существенно необходимо для развития собственного литературного процесса — так большая собака инстинктивно находит травы, излечивающие ее.

Такой литературный фон безусловно способствовал раскрепощению внутренней свободы в его творчестве. Внешняя реальность теперь только импульс для стихотворения, ныне область поэтического действия, его территория — сознание и под-сознание поэта. (В одном из разговоров Имерманис отметил, что из всех мыслителей ему ближе всего З. Фрейд и еще Ф. Энгельс.)

«Избранное» не даст соврать — именно на последние два десятилетия приходится качественный скачок в творчестве Имерманиса. Но, разумеется, сохраняются и некоторые константы его поэзии.

В отличие от многих современных поэтов, его мироощущению чуждо экзистенциальное чувство страха (возможно, здесь сказалось обилие «пограничных ситуаций» в судьбе поэта).

И еще одно качество, которое звучит как трюизм, — поэт влюблен в жизнь. Это почти стоическая влюбленность в фатум — не селекция приятных и прекрасных сторон и явлений, а любовь именно ко всей трагической и комической пестроте бытия, переживаемого яростно, с острой наточенных временем чувств. Отсюда и кажущийся архаичным оптимизм Имерманиса, отсутствие в его стихах разъедающей рефлексии безвременья. Стих Имерманиса — один из самых динамичных в латышской поэзии — четкий симптом диалектической природы мышления.

Поэт свободно перемещает времена и пространства, порой кажется, что вот-вот его стихи станут книжными, но нет, живая эмоция разрушает всякое начетничество. Его «разговоры» с хрестоматийными знаменитостями — не демонстрация собственной эрудиции, а попросту беседа с современниками, когда современные современники не столь уж современны... Чувство аутсайдера в

латышской поэзии долго не покидает его.

Вот важное для поэта стихотворение, которое, если хотите, можно причислить к «экскурсантскому» жанру — «Closerie de Lilas»: «Для жизни надо мне одно — Париж».

Очевидно, в наше время многочисленных загранпоездки поэт побывал в Париже? Нет, что вы, гражданин Имерманис, вы ведь водитесь со всякими там музами. Разве больше некому ехать? Но самые прекрасные путешествия совершаются в голове — примерно так писал Бодлер. Для таких путешествий у Имерманиса карманы набиты визами и билетами всех времен и народов.

Поздняя любовная лирика Имерманиса представлена в «Избранном» с целомудренной односторонностью. В гетевском возрасте разве положено писать столь обнаженно-чувственные стихи? Хватит с нас одного Гете. Но без такой лирики Имерманис немислим. Плоть в его стихах зачастую одолевает дух, в других же случаях выходит победителем нежность. Все градации чувств — от вождения до сентиментальности. Этим Имерманис напоминает раннего Чака, поэтика которого оказывает заметное влияние на образный строй, «футуристическую» рифмовку поэта, хотя сам Имерманис своим учителем считает Яна Судрабална, значение которого в латышской поэзии незаслуженно признано.

Ищущий изъязы да обрящет. Что скрывать — порой Имерманис в поэтическом азарте впадает в безкусицу (переводы это счастливо скрадывают), мощные периоды его фраз иногда топорчатся необструганными углами, зато в верлибрах проявляется суровая дисциплина поэта, интеллектуальные построения не оборачиваются простой умозрительной игрой. Хотя именно игровое начало в сочетании с экзистенциальной проблематикой отмечает наиболее зрелые вещи позднего Имерманиса.

У каждого, любящего творчество Анатола Имерманиса, поэта весьма плодovitого, есть свое «избранное» его стихов. Русскому читателю предлагается вышеописанный вариант. И из этого «Избранного» он может составить собственное. Вот и прекрасно.

## КАББАЛА

[лекция]

### ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

В конце сороковых годов текущего столетия пришедший к власти в Аргентине президент Перон разогнал Общество аргентинских писателей и отдал распоряжение лишить Хорхе Борхеса должности первого помощника по каталогу в Муниципальной библиотеке Буэнос-Айреса, предложив ему пост инспектора по птице на городском рынке. Перон не мог простить Борхесу его симпатий к странам Коалиции во время второй мировой войны. Акция была варварской — к тому времени у Борхеса стало катастрофически падать зрение. Через пять лет, когда после свержения Перона ему предложат пост директора Национальной библиотеки, он уже совершенно ослепнет. Европа тогда еще не баловала Борхеса колоссальными тиражами его книг. Скромная зарплата библиотечного клерка была единственным его источником существования.

Тогда А. Бийо Касарес, Сильвина и Викториа Окампо — коллеги Борхеса по разогнанному обществу писателей и близкие друзья — предложили Борхесу прочесть цикл лекций по проблемам мировой культуры в Аргентине и Уругвае. Лекции Борхеса стали основой учебного курса по истории английской литературы («От «Беовульфа» к Б. Шоу»), прочитанного им в качестве профессора англо-американской литературы Буэнос-айресского университета в конце пятидесятих годов. В 50—60-е годы Борхес выступает с лекциями в Йельском, Оксфордском и Гарвардском университетах, в Риме и Париже. Лекция о каббале, предлагаемая читателям нашего журнала, — часть лекционного цикла, прочитанного Борхесом в 1979 году, накануне своего восьмидесятилетнего юбилея, со сцены столичного аргентинского театра «Колисео». Год спустя Рой Бартоломео, издавший несколько книг и статей о борхесовском творчестве, собрал лекции в книгу «Семь вечеров» (буквально — «семь ночей», по аналогии с семью днями творения) и опубликовал ее в мексиканском издательстве «Фондо де культура экономика». В книгу вошли лекции «Буддизм», «Каббала», «Тысяча и одна ночь», «Божественная комедия», «Кошмар» (о страшных снах в мировой литературе), «Слепота» (о слепых поэтах от Гомера до Борхеса), «Поэзия».

Своим интересом к каббалистической мифологии Борхес обязан Морису Абрамовицу, своему школьному учителю, преподавателю немецкого языка и литературы Цюрихской школы. (Хорхе Борхес, отец Хорхе Луиса, выехал в начале века в Швейцарию подлечить пошатнувшееся зрение. Цюрих представлял собой забавное зрелище в те годы: Ленин и Тристан Тцара сидели за столиком кафе и играли в шахматы, по городу гулял безвестный Герман Гессе, публика зачитывалась бестселлером того времени — романом Густава Мейринка «Голем».) Морис Абрамовиц, познакомивший Хорхе Луиса с Рембо, Уитменом и немецкими экспрессионистами,

стами, и был тем человеком, кто подарил Борхесу том Мейринка с «каббалистическим» романом «Голем». Несколько десятилетий спустя каббалистические сюжеты стали основой борхесовских философских новелл и эссе — «Оправдание каббалы», «Алеф», «Письмена Бога», стихотворения «Голем». По всей видимости, воспользовавшись советом Рафаэля Кансинос Ассенса, испанского писателя и переводчика [среди его работ — трехтомный Достоевский и «Тысяча и одна ночь»], Борхес обратил внимание на книги и статьи Гершома Шолема, автора знаменитой книги «Основные направления в еврейском мистицизме», к материалам которой часто обращаются и отечественные культурологи [в частности, С. С. Аверинцев].

«Великий писатель создает своих предшественников», писал однажды Борхес. В этом смысле его обращение к каббале — попытка обозначить своего предшественника в истории культуры. Каббала говорит о букве как с метафоре. Борхес говорит о метафорах культуры — букве, слове, книге, библиотеке. Каббала для Борхеса — особый способ читать книгу. Каббалистический миф — отличный сюжет для фантастического рассказа. «Идея Бога, — говорит Борхес, — существа разумного, всемогущего и, кроме того, любящего нас, — один из наиболее удачных вымыслов фантастической литературы». В конечном счете, интерес Борхеса к религиозной мифологии — это интерес архивиста, отыскавшего забытую страницу, безжалостно вырванную атеистическим веком из истории мировой культуры.

## И. ПЕТРОВСКИЙ

Различные и, порой, противоречащие друг другу религиозные учения — их обычно объединяют под названием «каббала» — восходят к понятию священной книги, совершенно чуждому нашему западному складу мышления. Говорят, что у нас есть аналогичное понятие — понятие классической книги. Мне кажется, с помощью Освальда Шпенглера и его книги «*Der Untergang des Abendlandes*» (Закат Европы) легко можно продемонстрировать, что понятия эти противоположны<sup>1</sup>.

Возьмем слово «классический». Откуда оно происходит? «Классический» происходит от слова «*classis*», что значит «фрегат», «эскадра». Классическая книга — книга выстроенная, готовая сойти со стропил; *shipshape*, как говорят англичане<sup>2</sup>. Кроме этого, относительно скромного своего значения классическая книга — единственная в своем роде. Так, мы говорим, что «Дон Кихот», «Божественная комедия», «Фауст» — классические книги.

Хотя эти книги и возведены в

культ, отношение к ним соответствует другому понятию. Греки считали «Илиаду» и «Одиссею» классическими произведениями; Плутарх рассказывает, что у Александра Македонского в изголовье всегда лежал список «Илиады» и его меч, обе вещи — символы его воинственной судьбы. Безусловно, ни одному греку не могло прийти в голову, что в «Илиаде» каждое слово совершенно. В Александрии для изучения «Илиады» собирались библиотекари; в процессе изучения текста они внесли столь необходимые (а сейчас, к сожалению, утраченные) знаки препинания. «Илиада» была книгой выдающейся; ее считали вершиной поэзии — но никто не считал, что каждое ее слово, каждый ее гекзаметр безупречны. Такая точка зрения соответствует другому понятию.

Гораций говорил: «Иногда и добрый наш Гомер дремлет»<sup>1</sup>. Вряд ли кому-нибудь в голову придет сказать, что иногда добрый Святой дух дремлет.

Позабыв о музе (идея музы довольно пространна), один английский переводчик решил, что когда Гомер говорит «человек в ярости — вот моя тема», он не имеет в виду

<sup>1</sup> Шпенглер Освальд (1880—1936) — немецкий философ. Борхес имеет в виду проводимое Шпенглером разграничение между «магической» византийско-арабской культурой и «классической» эллинской.

<sup>2</sup> Буквально — «как на корабле», все в полном порядке.

<sup>1</sup> «Но я рассержусь, когда задремать случится Гомеру» (Квинт Гораций Флакк. Наука поэзии, пер. М. Гаспарова).

совершенство своей книги в каждом ее слове: он имеет в виду книгу, в которой возможны перестановки и которая допускает историческое изучение; такие произведения изучали и изучают с исторической точки зрения, их рассматривают в определенном контексте. Понятие священной книги совершенно иное.

Теперь представим себе книгу как средство утверждения, защиты, борьбы, истолкования и изложения религиозного учения. В античности считалось, что книга заменяет устное слово; иного ее понимания не существовало. Вспомним высказывание Платона, что книги похожи на статуи; они кажутся живыми существами, но когда их о чем-либо спрашивают, они не могут ответить. Чтобы преодолеть эту трудность, был создан Платонов диалог, разрабатывающий все возможности той или иной темы.

Обратимся к одному очень красивому и весьма любопытному посланию, которое, по Плутарху, Александр Македонский отправил Аристотелю. Он только что опубликовал свою «Метафизику», то есть приказал снять с нее несколько копий. Александр подверг книгу критике, упрекнул Аристотеля, мол, теперь все смогут узнать то, что раньше было доступно только избранным. Защищаясь, Аристотель с неизменной искренностью отвечает Александру: «Книгу мою опубликовали и не опубликовали». В ту пору предполагалось, что в книге невозможно полностью раскрыть тему, что книга — всего только подспорье в устном обучении.

По разным причинам Гераклит и Платон критиковали Гомера. Его книги почитали, но не считали их священными. Понятие священной книги специфически восточное.

Пифагор не оставил нам ни одной написанной строчки. Полагают, что он не хотел связывать себя определенным текстом. Он хотел, чтобы его мысль продолжала жить и усложняться после его смерти — в сознании учеников. Отсюда происходит выражение «*Magister dixit*», всегда применяемое в отрицательном смысле. «*Magister dixit*» не означает «так сказал учитель» — и спор окончен. Один пифагореец выдвигал идею, по всей видимости, не входившую в традицию Пифагора, — идею цикличе-

ского времени. Когда ему возражали, что «этого нет в традиции», он отвечал: «*Magister dixit*», и это означало, что он может вносить что-то новое. Пифагор считал, что книги сковывают мысль, или, говоря словами Писания, что буква убивает, а дух оживляет.

В главе «Заката Европы», посвященной магической культуре, Шпенглер указывает, что прототипом магической книги является Коран. Для улемов — мусульманских богословов — Коран представляет собой книгу, совершенно отличную от других. Для них эта книга (невероятно, но именно так) более древняя, чем арабский язык; ее нельзя изучать ни с исторической, ни с филологической точки зрения, поскольку она древнее создавших ее арабов, языка, на котором она написана, вселенной. Коран ни в коем случае не считается делом рук господних; это книга более интимная и таинственная. Для ортодоксальных мусульман Коран — атрибут Господа, как и Его гнев, Его милость и Его справедливость. В том же Коране говорится о таинственной книге, книге-матери, небесном прообразе Корана: она находится на небесах и почитается ангелами.

Таково понятие священной книги, совершенно противоположное понятию книги классической. В священной книге священные не только слова, но и буквы, которыми они написаны. Каббалисты воспользовались этой идеей для изучения Писания. Я подозреваю, что *modus operandi*<sup>1</sup> каббалистов был предопределен их стремлением инкорпорировать положения гностиков в иудейский мистицизм — с тем чтобы привести его в согласие с Писанием и с ортодоксией. В любом случае нетрудно понять (я почти не имею права говорить об этом), в чем же заключается *modus operandi* каббалистов, начавших применять свою необычную науку на юге Франции, на севере Испании — в Каталонии, и затем — в Италии, в Германии, с течением времени и в других местах<sup>2</sup>. Пришли каббалисты и в Израиль, хотя произо-

<sup>1</sup> Способ действий, метод (лат.).

<sup>2</sup> Как доктрина каббала сформировалась в XIII в. в Испании. В Палестину каббалисты пришли только в XVI в.

шли они и не оттуда; произошли они скорее от мыслителей-гностики и катар<sup>1</sup>.

Идея заключается в следующем: Пятикнижие, Тора — это священная книга. Бесконечный разум снизошел к выполнению человеческой задачи — созданию книги. Святой дух снизошел до литературы, что так же невероятно, как и предположение, что Бог снизошел до человеческого облика. Но в этом случае он поступил более тонко: Святой дух снизошел до литературы и написал книгу. В этой книге нет ничего случайного. Наоборот, во всем, что написано человеком, всегда есть что-то случайное.

Хорошо известно, каким суеверным почитанием окружены «Дон Кихот», «Макбет», «Песнь о Роланде» и многие другие книги, чаще всего одна в каждой стране — за исключением Франции, где литература так богата, что в ней могут существовать две классические традиции; но я не буду вдаваться в разбор этой проблемы.

Итак, если бы какой-нибудь сервантист вдруг сообщил, что «Дон Кихот» начинается с двух односложных слов, заканчивающихся буквой «N» «EN» и «UN», что затем следует слово из пяти букв (место), потом идут два двусложных слова, затем слово из шести букв, и если бы он сделал из этих своих наблюдений вывод, его бы немедленно сочли сумасшедшим. Библию изучают именно таким способом.

Говорят, например, что она начинается буквой «бет», первой буквой слова «Бреши́т»<sup>2</sup>. Почему в ней говорится, что «вначале боги создали небо и землю», глагол в единственном числе, а существительное — во множественном? Почему Библия начинается с буквы «бет»? Потому что эта буква на древнееврейском языке значит то же, что «б» — начальная буква слова «благословение» — в испанском, а текст не мог начинаться с буквы, которая соответствовала бы проклятию; он должен был начинаться с благословения. «Бет» — первая буква древне-

еврейского слова «браха́», означающего благословение.

Есть и другое очень любопытное обстоятельство, которое должно было повлиять на каббалу. Бог, чьи слова были инструментом его деятельности (как рассказывает великий писатель Сааведра Фахардо<sup>1</sup>), создал мир с помощью слов; Бог сказал — «Да будет свет», и появился свет. Отсюда следовал вывод, что мир был создан словом «свет» или той интонацией, с которой Бог произнес слово «свет»; если бы он произнес другое слово с другой интонацией, результатом был бы не свет, а что-то иное.

Мы подходим к чему-то еще более невероятному, чем все, что я говорил до сих пор. К тому, что должно шокировать наш западный разум (во всяком случае — мой шокирует), но мой долг рассказать об этом. Когда мы рассуждаем о словах, мы полагаем, что с исторической точки зрения слова́ были вначале сочетанием звуков, а затем стали словом. Наоборот, в каббале (что означает «предание», «традиция»), считается, что буквы предшествуют звукам, что не слова, обозначаемые буквами, а сами буквы были инструментом Бога. Это все равно, как если предположить, что наперекор всякому опыту письменное слово предшествовало слову устному. В таком случае, в Писании нет ничего случайного. Все должно быть predetermined. Например, число букв в каждом стихе.

Затем устанавливают соответствия между буквами. Писание рассматривают таким образом, как будто это зашифрованное письмо, криптограмма, и изобретают различные шифры, чтобы прочесть его. Можно взять любую букву Писания, отыскать другое слово, начинающееся с этой буквы, и прочесть это значащее слово. И так с каждой буквой текста.

Так же могут быть образованы два алфавита: например, первый — от «а» до «л», а другой — от «м» до «я», или в соответствующих буквах еврейского алфавита; считается, что буквы верхнего алфавита соответ-

<sup>1</sup> Гностики — одна из наиболее значительных раннехристианских сект. Катары — европейская разновидность манихейской ереси (также: патарены, альбигойцы, богомилы).

<sup>2</sup> Вначале (древнеевр.).

<sup>1</sup> Сааведра Фахардо (1584—1648) — испанский писатель и дипломат, комментатор Библии.

вуют буквам нижнего алфавита. Затем текст может быть прочитан (прибегнем к греческому слову) способом «бустрѳедон»<sup>1</sup>: то есть справа налево, затем — слева направо, затем опять — справа налево. Также нужно установить для каждой буквы числовое соответствие. Все это складывается в тайнопись, она может быть расшифрована, и мы можем получить результаты, так как их получение было предусмотрено бесконечной мудростью Божьей. Таким образом, с помощью этой тайнописи — работы, напоминающей дешифровку из «Золотого жука» Эдгара По, — подходят к доктрине.

Я подозреваю, что доктрина предшествовала *modus operandi*. Я подозреваю, что в каббале происходит то же, что и в философии Спинозы: геометрический порядок считается вторичным<sup>2</sup>.

Любопытный *modus operandi* каббалистов основан на одном логическом предположении — на том, что Писание представляет собой совершенный текст, а в совершенном тексте ничто не может быть волей случая. Совершенных текстов не существует; во всяком случае тексты, созданные людьми, совершенными не бывают. В прозе больше внимания уделено смыслу слов; в поэзии — звуку. Разве можно предположить существование хоть одной оплошности или слабого места в тексте, созданном Святым духом? Все в нем должно быть фатально. Из этой фатальности каббалисты и вывели свою систему.

Если Священное писание — не бесконечное письмо, то чем же оно отличается от стольких разновидностей письма, созданного человеком? Что же отличает Книгу Царств от книги по истории и Песнь Песней — от простого стихотворения? Остается предположить, что у всех у них бесконечно много значений. Скот Эуригенский говорил, что Библия имеет бесконечно много значений, словно

разноцветное оперенье королевского павлина<sup>1</sup>.

Согласно другой теории, в Писании четыре смысла. Систему можно изложить таким образом: вначале есть существо, аналогичное Богу Спинозы, только Бог у Спинозы бесконечно богат, а Эн-Соф бесконечно беден. Речь идет о Первоначальном существе; невозможно сказать о нем, что оно существует, поскольку если мы признаем, что оно существует, то существуют и звезды, и люди, и муравьи. Как же они могут существовать с ним наравне? Нет, Первоначального существа не существует. Также нельзя сказать, что оно мыслит, поскольку мыслить — это значит совершать логический процесс с переходом от предположения к заключению. Мы не можем сказать также, что оно любит, поскольку любить нечто — значит чувствовать, что нам чего-либо недостает. Также — что он творит. Эн-Соф не творит, поскольку творить — значит ставить перед собой цель и достигать ее. Кроме того, если Эн-Соф бесконечно (многие каббалисты сравнивают его с морем — символом бесконечного), как оно может любить другое? И что другое оно могло бы создать, кроме еще одного бесконечного существа, неотличимого от него самого? Так как сотворение мира, к сожалению, необходимо, существует десять сефирот-эманаций, происходящих от него, но и одновременных ему.

Мысль о вечном существе, всегда имеющем эти десять эманаций, понять нелегко. Эти десять эманаций возникают одна из другой. Текст говорит нам, что они соответствуют десяти пальцам рук<sup>2</sup>. Первая эманация называется Короной и сравнима она со световым лучом, происходящим от Эн-Соф; со световым лучом, не преуменьшающим величину беспредельного существа, которую преуменьшить невозможно. Из Короны возникает другая эманация, из другой — третья, из третьей — четвертая, и так до десяти. Каждая эманация имеет три части. Первая из трех

<sup>1</sup> Способ вспашки поля, напоминающий непрерывную вязь меандра, «ходом быка».

<sup>2</sup> Согласно нидерландскому философу Воруху Спинозе (1632—1677), весь мир есть особого рода математическая система и может быть до конца познан геометрическим способом.

<sup>1</sup> Скот Эуригенский — знаменитый ирландский философ IX в., считавший человеческий разум эманацией разума божественного, а основные человеческие идеи — теофаниями.

<sup>2</sup> Борхес, очевидно, имеет в виду «Сефер Йетцира» (см. далее).

частей связывает эманацию с Верховным существом. Вторая, центральная — наиболее важная часть, а третья связывает ее с последующей эманацией.

Все десять эманаций образуют человека, которого зовут Адам Кадмон, Человек-архетип. Он обитает на земле, и мы являемся его отражением. Из десяти эманаций этот человек создает один мир, создает другой, и так до четырех. Третий мир — это наш материальный мир, а четвертый — мир ада. Все они заключены в Адаме Кадмоне, вмещающем в себя и человека, и его микрокосмос — все на свете.

Я рассказываю вам не об экспонате из музея истории философии: я думаю, что у этой системы есть применение — она может помочь нам в наших рассуждениях и попытках понять вселенную. Во все века гностики предшествовали каббалистам; их система, постулирующая неопределенного Бога, сходна с системой каббалистов. От этого Бога, называемого «*Pleroma*» (Цельность)<sup>1</sup>, происходит другой Бог (я следую превратной версии Иренео), от него исходит следующая эманация, от той — еще одна, и каждая из них образует небо (существует целая башня эманаций). Их число приближается к тремстам шестидесяти пяти, ведь астрология многосоставна. Когда мы достигаем последней эманации, чья божественная сущность стремится к нулю, мы видим Бога, которого зовут Иегова — он и создает этот мир.

Почему в созданном им мире столько пороков, столько ужаса, столько греховности, столько физического страдания, столько вины, столько преступлений? Потому что божественное убывает и создает этот испорченный мир лишь тогда, когда достигает Иеговы.

С тем же самым механизмом мы сталкиваемся в случае с десятью сфирот-эманациями и четырьмя мирами, созданными Божеством. По мере удаления от Эн-Соф, от беспредельного, от сокрытого, от тайного, — так называют его на своем метафорическом языке каббалисты, — десять эманаций утрачивают

божественную силу и приближаются к последней эманации, создающей тот мир, где обитаем мы, столь порочные, столь подверженные несчастью, столь скоротечные в счастье; это не абсурдная мысль; мы сталкиваемся в этом случае с вечной проблемой — проблемой зла, блестяще изложенной в книге Иова, представляющей собой, по Фрейдю, лучшее из всех литературных произведений.

Вспомните историю об Иове<sup>1</sup>. Он человек справедливый, но преследуемый, жаждущий оправдаться перед Богом, проклятый своими друзьями, но верящий, что он оправдается, и в конце концов Бог обращается к нему из грозовой тучи. Он говорит ему, что находится вне человеческих измерений. В доказательство он приводит два любопытных примера — слона и кита — и говорит, что они созданы им самим. Мы должны понять, комментирует этот эпизод Макс Брод, что слон, *Begemoth* (Животные)<sup>2</sup>, настолько огромен, что его имя стоит во множественном числе, а Левиафан может быть сразу двумя чудовищами — китом и крокодилом<sup>3</sup>. Он говорит, что Он, как и эти чудовища, неинтеллигибелен и поэтому не может быть познан людьми.

К такому же выводу приходит и Спиноза; он считает, что наделение Бога человеческими свойствами напоминает рассуждения треугольника о том, что Бог имеет безупречно треугольную форму. Представление о справедливости, милосердии Бога содржит в себе столько же антропоморфизма, сколько утверждение, будто у Бога есть лицо, глаза и руки.

Таким образом, мы имеем высшее божество и нисходящие от него эманации. Эманации кажутся наиболее безобидным способом лишить Бога вины. Чтобы вина, как говорил Шопенгауэр, происходила не от короля, а от его министров и чтобы наш мир был создан этими эманациями.

<sup>1</sup> Иов — страдающий праведник, главный персонаж ветхозаветной книги.

<sup>2</sup> Макс Брод — австрийский писатель, друг Ф. Кафки. Бегемот и слон упоминаются в Библии как символы непознаваемости Бога. Являются аналогами Левиафана.

<sup>3</sup> Левиафан — морское животное, описывающееся в Библии как крокодил, гигантский змей или дракон.

<sup>1</sup> Борхес пользуется излюбленным Платоновым термином «плерома» — «полнота», «целостность».

От зла пытались защищаться несколькими способами. Начнем с классического способа теологов, согласно которому зло есть отрицание и сказать «зло» означает просто-напросто констатировать отсутствие блага; для каждого чувствительного человека этот способ совершенно ложный. Любое физическое страдание в той или иной степени более живуче любого удовольствия. Несчастье не есть отсутствие радости, оно что-то утверждает; когда мы несчастливы, мы ощущаем свое состояние как несчастье.

Существует один очень элегантный, но совершенно ложный аргумент Лейбница, обосновывающий существование зла<sup>1</sup>. Представим себе две библиотеки. Первая состоит из тысячи экземпляров «Энеиды» — ее по праву считают превосходной книгой. Другая библиотека содержит тысячу книг разной ценности и одна из них — «Энеида». Какая из двух библиотек лучше? Безусловно, вторая. Лейбниц приходит к выводу, что зло есть необходимое условие разнообразия мира.

Другой пример, который часто приводят в этой связи, — это пример с прекрасной картиной, предположим, принадлежащей кисти Рембрандта. На полотне есть темные пятна, они могут соответствовать злу. Лейбниц, кажется, забывает, что одно дело, когда в его примере с полотнами и книгами в библиотеке могут быть плохие книги, и совсем другое дело — быть этими книгами. Если мы — одна из этих книг, то нам суждено гореть в аду.

Не все испытывают восторг, — я не могу сказать, испытывал ли его я, — перед Киркегором, считавшим, что если бы для мирового разнообразия было необходимо, чтобы в аду горела одна душа, и это была бы его душа, то из глубин преисподней он пел бы аллилуйю Всемогущему<sup>2</sup>.

Не знаю, легко ли петь аллилуйю в такой ситуации; не знаю, думал ли

бы Киркегор точно так же, побывав он несколько минут в преисподней. Но мысль, как видите, относится к важной проблеме — проблеме существования зла, которая у гностиков и каббалистов решается сходным образом<sup>1</sup>.

Гностики и каббалисты выдвигают теорию, что вселенная является делом рук несовершенного божества, чья доля божественности стремится к нулю. Иными словами, делом рук божества, которое не есть сам Бог. Божества, далеко отстоящего от Бога. Не знаю, может ли наш разум оперировать такими грандиозными и пространными понятиями, как Бог, божество или доктрина Василида о существовании у гностиков трехсот шестидесяти пяти эманаций. Безусловно, однако, что мы можем принять мысль о совершенном божестве, о божестве, призванном замесить этот мир из неудачного материала. Мы пришли в этом случае к мысли Бернарда Шоу о том, что «Бог сам себя вершит». Бог есть существо, не принадлежащее прошлому, и даже, наверно, не принадлежащее настоящему: он есть вечность. Бог есть существо, которое может существовать в будущем: если мы благородны, интеллигентны, талантливы, мы помогаем творить Бога<sup>2</sup>.

В «Огне нетленном» Уэллса варьируется сюжет Книги Иова; герои также похожи друг на друга. Герой Уэллса спит под наркозом; ему снится, что он входит в лабораторию. Обстановка в ней бедная, за работой сидит старик. Этот старик — Бог; он ужасно раздражен. «Я делаю все, что в моих силах, — говорит он ему, — но в действительности приходится бороться с материалом очень неуступчивым». Вероятно, зло и есть этот неуступчивый материал Бога, а благо есть добро. Но благо должно в конце концов победить, и оно побеждает. Я не знаю, верим ли мы в прогресс; я думаю, что да, по крайней мере в прогресс, имеющий форму гетевской спирали: мы движемся вперед и возвращаемся назад, но в

<sup>1</sup> Готфрид Эфραίм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ, математик, логик и физик.

<sup>2</sup> Серен Киркегор (1813—1855) — датский теолог, философ и математик. Борхес имеет в виду рассуждения Киркегора о проблеме зла из знаменитой книги «Или — или» (1843).

<sup>1</sup> Гностики и каббалисты считают, что мир — антипод Бога.

<sup>2</sup> Гностики и каббалисты считают, что человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс истории.

целом мы совершенствуемся. Как можно говорить об этом в нашу столь жестокую эпоху? Безусловно, сегодня берут в плен и сажают в тюрьмы, возможно и в концентрационные лагеря; но в плен берут врагов. Во времена Александра Македонского казалось естественным, когда победившая армия уничтожала всех побежденных и когда победенный город стирался с лица земли. Наверно, в интеллектуальном отношении мы также совершенствуемся. Подтверждением тому — это скромное событие, свидетельствующее, что нас интересует ход мысли каббалистов. Наш разум открыт, и мы готовы изучать не только чужой разум, но и чужое неразумие, чужие предрассудки. Каббала — не только музейный экспонат, но и особого рода метафора мышления.

Сейчас я бы хотел поговорить об одном из мифов, об одной из самых любопытных легенд каббалы. Это легенда о големе, которая вдохновила Мейринка на знаменитый роман, а меня — на стихотворение<sup>1</sup>. Бог берет кусок земли («Адам» означает «красная земля»), вдыхает в него жизнь и создает Адама — первого голема каббалистов. Он был создан божественным словом, дыханием жизни; и так как в каббале говорится, что все Пятикнижие представляет собой зашифрованное имя Божье, то если кто-нибудь завладеет именем Божьим, состоящим из четырех букв — тетраграмматоном — и сумеет правильно его произнести, то он создаст мир и вдохнет жизнь в голем — человека.

Легенды о големе превосходно обработал Гершом Шолем в недавно мной прочитанной книге «Символизм каббалы»<sup>2</sup>. Я обнаружил, что первоисточники искать бессмысленно, поэтому обращаюсь к этой книге, лучше всего раскрывающей тему. Я прочитал замечательный и, думаю, точный перевод (я ведь не знаю древ-

нееврейского) книги «Сефер Йетцира», то есть «Книги Творения», выполненный Леоном Дюжане<sup>1</sup>. Я прочитал перевод «Зогара», или «Книги Сияния». Однако эти книги были написаны не для того, чтобы учить каббале, а для того, чтобы внушать ее; для того, чтобы изучающий каббалу мог прочесть их и чувствовать себя благодаря им более подготовленным. Они не раскрывают всей истины — точно так же, как опубликованные и неопубликованные трактаты Аристотеля.

Вернемся к голему. Предполагают, что если раввин поймет или откроет секрет имени Бога и произнесет его над человеческим телом, вылепленным из глины, тело оживет и будет называться «голем». В одной из версий этой легенды на лбу у голема написано слово ЕМЕТ, что означает «истина». Голем растет. Приходит время, и вот он уже такой огромный, что его хозяин не в состоянии до него дотянуться. Хозяин просит, чтобы голем завязал ему туфли. Голем наклоняется, и раввину удается, дохнув, стереть «алеф», то есть первую букву слова ЕМЕТ. Остается МЕТ — смерть. Голем превращается в прах.

В другой легенде один раввин — или несколько раввинов, несколько волхвов — создают голем и отправляют его к другому учителю, который также умеет создавать голем, но очень далек от всей этой суесть. Раввин заговаривает с ним, и голем не отвечает ему, потому что он лишен способности понимать и говорить. Раввин изрекает: «Ты — подделка волхвов; возвращайся в свой прах». Голем падает, сраженный наповал.

Наконец, еще одна легенда, рассказанная Шоломом. Многие ученики (один человек не в состоянии изучить и истолковать «Книгу Творения»)

<sup>1</sup> Густав Мейринк (1868—1932) — австр. писатель, автор романа «Голем», в котором фантастические картины, восходящие к каббалистической мистике, сочетаются с сатирическим изображением пражского гетто. Голем — «комок», «неоформленное», «неготовое» — оживляемый магическими средствами глиняный великан.

<sup>2</sup> Гершом Шолем — выдающийся знаток иудейского мистицизма.

<sup>1</sup> «Сефер Йетцира» — трактат, созданный между III и VIII вв. евреями Испании и Прованса. Основной тезис — сакральное происхождение и магический смысл 22 букв еврейского алфавита. «Зогар» — основной текст каббалистической мудрости, написанный на арамейском языке в Кастилии. Приписывается перу Моше де Леона. Здесь получило развитие учение об эманациях («сефирот»), а также о бескачественной беспредельности Божества Эн-Соф.

пытаются создать голем. Голем рождается с кинжалом в руке и просит своих создателей, чтобы они убили его, «потому что если я останусь жить, меня станут боготворить будто идола». Для иудеев, как и для протестантов, идолопоклонничество — один из наиболее тяжких грехов. Они убивают голем.

Я пересказал несколько легенд, но хотел бы вернуться к самому началу — к доктрине, заслуживающей, как мне кажется, пристального внимания. В каждом из нас есть частица божественности. Очевидно, что наш мир не может быть делом рук справедливого и всемогущего существа и что он зависит от нас самих. Вот какой урок преподает нам каббала

помимо того, что она остается областью интересов историков и грамматиков. Как и знаменитое стихотворение Гюго «*Ce que dit la bouche d'ombre*», каббала проповедует то, что греки называли апокатастасис: все существа, включая Каина и дьявола, в финале долгих перерождений снова сольются в божестве, от которого они однажды произошли<sup>1</sup>.

Перевел с испанского  
И. М. ПЕТРОВСКИЙ

---

<sup>1</sup> Борхес имеет в виду стихотворение Виктора Гюго «Что поведала тень». Апокатастасис (древнегреч.) — возвращение к изначальной целостности.

## Почта «Даугавы»

*«Не мог спокойно читать публикацию Н. Заболоцкого «История моего заключения». Сколько мук, сколько несправедливости принял этот честнейший человек — гордость советской поэзии! И ведь мы все испытания не знаем — он, как пишет его сын, не осуществил до конца задуманное.*

*Мне трудно понять тех, кто с пеной у рта защищает Сталина и его время. Я думаю, что это за люди? Или это следователи-садисты, ведающие дела, или доносчики, боящиеся разоблачения, или их дети.*

*Я помню это время. В 1938 году мне было уже 15 лет. По городу ночью развезжали «воронки», которые брали ни в чем не повинных людей — героев Октября, героев пятилеток, поэтов, ученых, военных. Брали лучших, думающих людей, наводя страх.*

*Иногда можно услышать такое: зачем сейчас отыскивать преступления прошлого. По-моему, точный ответ дал на это М. С. Горбачев: чтобы подобный кошмар не повторился больше!*

*Прошу также поблагодарить художника А. Голтыкова за его мужественную картину. Он прав: тирану не может быть прощения!*

Альберт Рывлин,  
художник,  
Ленинград».

*«Меня поразила и взволновала «История моего заключения» Николая Заболоцкого. Я прочитал также воспоминания актера Георгия Жженова на эту же тему, напечатанные в «Огоньке». Но почему нигде, хотя бы после рассказов ничего не говорится о тех следователях, которые издавались над своими жертвами? Ведь они имеют свои имена и фамилии и, возможно, живут безбедно до сего дня. Не пора ли называть их конкретно, ведь не один Берия творил эти черные дела! Есть же документы и архивы! Есть ведь и папки с доносками и имена доносчиков!*

*Еще одна мысль: не пора ли пересмотреть творчество Александра Солженицына с сегодняшних позиций? Мне кажется, оно правдиво и созвучно нам. Многие не успели прочитать его книги — так быстро они стали запретны в период застоя. Может быть, редакция отважится напечатать что-нибудь написанное им?*

М. П. Крылов,  
г. Электросталь Московской обл.»

*«Случайно купил «Даугаву» № 3. Мемуары Николая Заболоцкого поразили. Неужели было так? Сейчас читаю роман Баласа Сруоги «Лес богов». Он описывает жизнь в фашистском концлагере Штутгоф. Очень похоже. По-моему, в НКВД в те годы было немало таких же садистов.*

*Мой дядя, правда не родной, чему я сейчас очень рад, тоже служил до войны и в войну в НКВД в Омске. Он красиво рассказывал нам, как они там ловят бандитов. Теперь я понимаю, что не только этим он занимался.*

*Не подписываюсь, потому что среди нас еще есть такие же. И их много. Виктор, Анадырь».*

Публикуя часть писем из откликов на Н. Заболоцкого, мы благодарим всех, кого не оставили равнодушными воспоминания поэта. Разделяем ваши чувства. И все же хочется сказать несколько слов по существу текстов.

Прежде всего — письмо Виктора из Анадыря, не решившегося указать свою фамилию. Поразительно. Поразительно, что это происходит сегодня, когда газеты и журналы страны заполнены трагическими материалами времен сталинской полпотовщины, когда конкретные люди под своими именами и фамилиями ставят острее проблемы экономики, политики, нравственности. Руководство партии призывает к углублению демократии и гласности, а человек боится. Таков парадокс.

Судя по письму, человек этот сравнительно молод. И не испытал на себе машины репрессий, посеяющей страх. И все же страх живет в нем сегодня. В нем ли одном? Тем и страшна эпоха беззакония, что даже будучи отменена,

она еще долгие годы сковывает поколения, унижая страхом. Тем и важна сегодняшняя работа лучших представителей страны, направленная на то, чтобы сбросить этот страх и возродить достоинство каждого.

Что касается предположения А. Рывлина, что сталинизм защищают лишь бывшие следователи и доносчики или их дети, думаем, автор письма сильно упрощает картину. Пресловутая статья Андреевой в «Советской России», а также высокая поддержка этой статьи показывают, что мы сталкиваемся с определенным мировоззрением, характерным для многих людей — от рабочих до ученых. Настоянное на генетическом догматизме, порожденном тоталитаризмом, оно страшится живой и меняющейся реальной жизни, искренне заботясь лишь об одном: как бы не пошатнулись опоры теории социализма, как бы не подвергнуть сомнению некий особый путь, особую миссию страны. Но социализм ли это был? И все ли на этом особом пути работало на благо народа? На разных культурных уровнях, иногда очень низких, отстаивается бывший «порядок». Тем не менее это — борьба идей, а не боязнь быть разоблаченными. И относиться к ней следует со всей серьезностью идейной борьбы.

Несколько слов по поводу требования М. П. Крылова воздать должное следователям, издевавшимся над безвинными жертвами. Во всяком случае, называть их имена. В большинстве публикаций имена называются. Знаем мы теперь, кто ломал Вавилова, Тухачевского, Заболотского... Вот теперь будем знать палачей Евгении Гинзбург. Тем не менее не ради отмщения хотим мы этого знания и, может быть, даже процессов над ними. А лишь для того, чтобы закрепить на будущее главное: ни один работник правовых органов не должен рассчитывать на безнаказанность своих действий. Никогда. Сколько бы времени ни прошло, поскольку речь идет именно о преступлениях против человечности.

Наконец, вопрос о творчестве А. Солженицына. Печатать или не печатать. Вообще печатать надо все. Читатель сам разберется в позиции любого автора, какой бы сложной она ни была. Смешно петься о девственности сегодняшнего читателя и оскорбительно ему не доверять, тем более, что целый ряд книг Солженицына сегодня далеко уступает в остроте даже периодике, а вот художественная индивидуальность первых его произведений, написанных в Союзе, несомненна. То, что создано в зарубежный период, вообще неизвестно нам.

Естественно, есть свои сложности, связанные с тем, что автор живет за пределами страны. Переговоры, согласие, валюта. Конечно же «Даугаве» в этом смысле трудно конкурировать с крупными литературными журналами.

Еще раз благодарим за искренние письма, на которые мы старались ответить тоже искренне.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

---

Авторы снимков в тексте: Марис Богустовс, Мартиньш Зелменис, Атис Иевиньш.

На первой странице обложки: Юрис Димитерс. 1937 год. Плакат.

Фото Атиса Иевиньша и Айварса Лиепиньша

На четвертой странице обложки: снимок из жерла сточной «пушки» Слоскского ЦБЗ, отравляющей реку Лиелупе.

Фото Бориса Голубева

Сдано в набор 17.05.88.

Подписано к печати 23.06.88. ЯТ 00125.

Формат 60×90/16. Типогр. бумага № 1,

мелованная бумага. Высокая печать.

8,0+0,25+0,25 усл.-печ. л., 9,86 ус. кр.-отт.,

9,87 уч.-изд. л. Тираж 37 000.

Заказ № 596. Цена 45 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП.

Баласта дамбис, 3.

Телефоны: гл. редактор 466049,

зам. гл. редактора 465913,

отв. секретарь 465996.

отд. прозы 465992,

отд. поэзии 465998.

отд. критики и публицистики 465990.

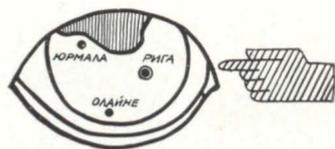
техн. секретарь 465993.

Отпечатано в тип. Издательства ЦК КП Латвии.

226081. Рига, Баласта дамбис, 3.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ.



Когда уходит пена, глазам жителей окрестных Слонскому ЦБЗ улиц Юрмалы (Ритупес, Межмалас и др.) предстает картина свалки, вползающей в пределы города



Состояние  
реки вполне  
соответствует  
картине  
окружающей  
среды. Так  
выглядят новые  
берега Лиелупе  
в окрестностях  
Слонского ЦБЗ

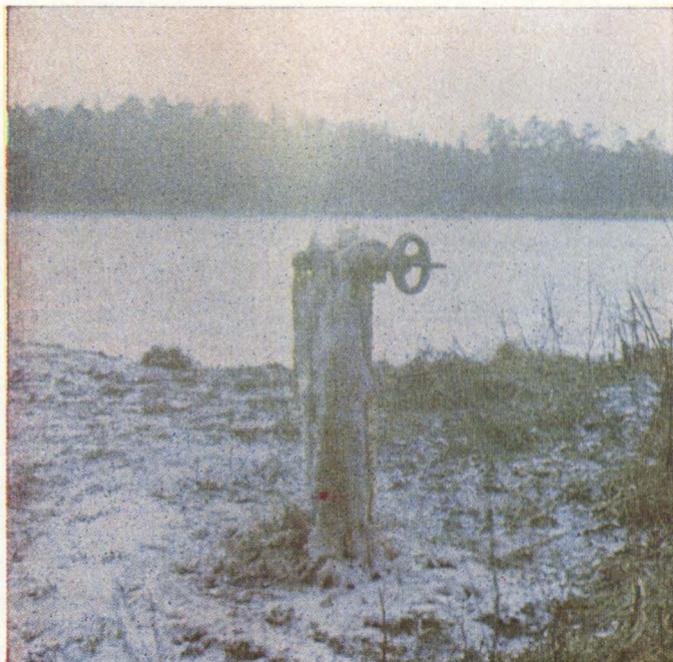


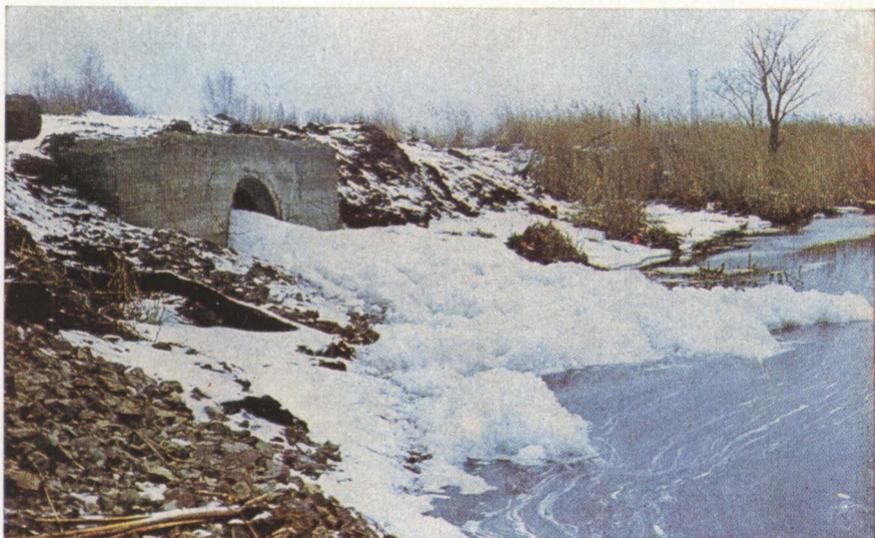
«След» ЦБЗ  
в городе-  
курорте

Сохнущие  
умирающие  
сосны —  
печальный  
символ  
Юрмалы



«Очищенные»  
воды заливают  
окружающее  
пространство  
отходами,  
вылезающими  
из  
канализационных  
люков на  
берегу





Вот источник «очищенных» вод. Они сбрасываются в Лиелупе, а оттуда — в Рижский залив



Не правда ли, красиво? И необычно... И пенно... И вредно... Такова «новая красота», создаваемая Слукским ЦБЗ.

Фото Бориса Голубева

**Э**кологические волнения апреля еще долго, видимо, будут предметом нашего обсуждения. Самым бурным всплеском страстей было шествие от центра Риги к парку «Аркадия» и митинг в нем — собравшаяся здесь в основном молодежь однозначно требовала остановить идею строительства в Риге метро. Такое пробуждение активности горожан многих обрадовало и обнадежило в те дни.

Теперь, когда прошло время, спокойные размышления о происходящем диктуют иные соображения: лучший ли это метод решения наших проблем! Крайний — да. Если нет других способов удовлетворения воли большинства. Но нет ли? И можно ли с уверенностью сказать, что митинг в «Аркадии» выразил интересы именно большинства? Большинство пришедших в «Аркадию» — да. Но это ведь мизерная часть населения миллионного города! Можно провести такой же шумный митинг в защиту метро, и он также не отразит воли большинства рижан.

Когда возникает проблема, касающаяся каждого, не лучше ли не ждать выхода людей на улицы, а провести референдум. Причем на ранней стадии проблемы.



Фото Улдиса Бриедиса

45 коп.

Индекс 77123

